

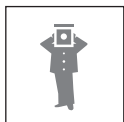
ЛЕВ ДАНОВСКИЙ

СЛЕПОК



2005

ББК 84Р7-5
Д17



Издание осуществлено
при содействии Музея Истории Фотографии,
Санкт-Петербург

Составление *Валерия Черешни*
Оформление *Алексея Портнова*

Дановский Л.

Д17 Слепок: Стихотворения. — СПб.: «Петербург — XXI век»,
2005. — 288 с., ил.

Сборник избранных стихотворений Льва Дановского (Айзенштата) (1947—2004) включает большую часть его лирики, начиная от первых зрелых стихов начала 70-х годов, кончая последними, и представляет читателю цельную картину его творчества в своем развитии, дает почувствовать особенности присущего ему поэтического голоса.

В сборник включены две книги стихотворений: «Пунктирная линия» и «Рельеф», а также разделы ранней и поздней лирики, отобранные составителем. Книгу завершают статьи В. Черешни и В. Гандельсмана о жизненном пути автора и характере его творчества.

ISBN 5-88485-166-9

84Р7-5

© Л. Дановский, 2004

© В. Черешня, составление,
послесловие, 2005

© В. Гандельсман, послесловия, 2005

© А. Портнов, оформление, 2005

От составителя

Лев Дановский (Лев Абрамович Айзенштат) родился 3 апреля 1947 года. С 4-х лет, после скорострительной смерти отца, жил с матерью в ближайшем пригороде Ленинграда — Лахте. Учился в школе на Петроградской стороне. После непрямой попытки поступления на филфак университета и столь же предсказуемой в те годы неудачи, поступил в ЛЭТИ (Ленинградский электротехнический институт), где и получил диплом. Более двадцати лет ходил на работу в «почтовый ящик» (предприятие оборонного ведомства) у Нарвских ворот, пока это хождение не стало абсолютно бессмысленным и бескорыстным из-за глубокого обморока этого самого ведомства. За эти годы многое в жизни Льва меняется: он женится, в год смерти матери (1984) рождается сын, через два года — дочь и, наконец, он с семьей переезжает из Лахты в странную двухэтажную квартиру в новостройках — меняется точка обзора. С середины 90-х годов работает в Еврейском общинном центре Санкт-Петербурга, ведет несколько культурных программ: литературное объединение, вечера поэзии, встречи с интеллигенцией города, пишет аннотации на новые издания и готовит интервью в журнале «Народ Книги в мире книг». Это период накопления новых знакомств, усталости (поскольку отдавать приходится гораздо больше того, что приобретается), период выработки новой стихотворной речи. Умер Лев 30 декабря 2004 года.

Вся эта нехитрая и поверхностная канва жизни обретает смысл и глубину в его стихах. Интонация, которую не спутаешь ни с какой другой, возникает в начале 70-х, крепнет и проясняется с годами, проходит ряд метаморфоз и сдвигов, всегда обусловленных только вслушиванием в себя, необходимостью настолько внутреннего порядка, что заблуждения и откровения становятся чем-то единым, пока не вызревает «всё победивший звук» лучших стихотворений позднего периода, к чему Лев так

стремился. Естественно, о печатании в советское время, кроме случайных публикаций, например, в Ленинградском «Дне поэзии-78», речи не было. С начала 90-х годов стихи Дановского публикуют журналы «Знамя», «Звезда», «Время и мы» и многие другие. В 1998 году в издательстве «Абель» выходит первая книга стихов «Пунктирная линия», в 2004, в издательстве Еврейского общинного центра Санкт-Петербурга, вторая — «Рельеф».

В настоящем издании сделана попытка соблюсти авторскую волю, проявленную при составлении книг, и дать читателю возможность проследить духовный рост и уникальность его выражения. В первом разделе, названном составителем «Перспектива», собраны стихи 70 — 80-х годов, не вошедшие в книги. Второй раздел — это републикация «Пунктирной линии», за исключением стихотворений, повторенных автором в «Рельефе». В третьем разделе — книга «Рельеф» без изменений. И, наконец, в четвертый раздел вошли последние стихотворения, написанные после публикации «Рельефа». Завершают книгу статьи о жизни и творчестве Льва Дановского. Название книги — «Слепок» — также дано составителем: оно продолжает ряд выбиравшихся Львом названий, а смысл его, надеюсь, будет в какой-то мере воплощен этим изданием.

Со дня смерти Льва прошло слишком мало времени, чтобы растерянность и недоумение уступили место привычному смирению перед фактом, особенно для близко его знавших. Остается утешаться мыслями, подобными высказанной Шеллингом: «в смерти человека... погибает только случайное, между тем как сущность, то, что собственно и есть сам человек, сохраняется. После смерти он есть просто Он сам». Если это так, единственная опасность — превращение жизни человека в миф, чем мы так часто грешим. Но стихам такая опасность не грозит, их нужно лишь уметь по-настоящему прочесть. Они перед вами.

ПЕРСПЕКТИВА

(стихотворения 70 — 80-х годов)

Фотографии 51-го года

Полковник Айзенштат лежит в гробу.
Вокруг стоят деревья и солдаты.
Какая-то девчонка у крыльца
Всё мечется. Умолкшую трубу
Сменяют троекратные раскаты.
На транспаранте «Слава РКК!»

«Смерть вырвала...» Суконные слова
Исправно говорит начальник штаба.
Навытяжку внимают кителя.
Предъявлены последние права.
Полковника взяла грудная жаба
И бедная камчатская земля.
Полковник прекращен. Жена и сын
Продолжены вдовой и сиротою.
Любая перемена — передел
Названия. Рассмотрим пластилин,
Формуемый годами и бедою —
Получим человеческий удел.
Читатель Маркса, торжество идей
Считавший неременным и гуманным,
Полковник не узнает никогда
Синонимов: «Верховный» и «злодей».
Он умер, очарованный багряным
Полотнищем. И красная звезда
С фуражки перешла на обелиск,
Сколоченный из крашеной фанеры.
Камчатские бураны и ветра
Расколотили эту стойку вдрызг,
Сорвав пятиконечный символ веры
И низведя могилу до бугра.
Остались фотографии — предмет,
Причастный бытию и документу,
Движение захвачено врасплох:

У малыша в одной руке берет,
Другой он треплет траурную ленту,
И наготове слезы, что горох.
Из мальчика получится... Вопрос
Мне и сегодня кажется открытым.
По крайней мере, можно говорить,
Что я смотрел свободными от слез
Глазами, понимая под пиитом —
Стремление предмет разоблачить.

* * *

Вот этот мир, где жечь и кирпичи,
Где прохудились и венцы, и кровля,
Где слабое у матери здоровье, —
Таким его в наследство получи.
Вот этот мир, где сочтены ключи,
И места не осталось для свечи.

Вот этот мир, где мною предпочтен
Потусторонний долг прямым заботам.
Где так бесплотна тяжесть за плечом,
И только перед этим небосводом
Ответствую. Где буду уличен,
Что оставался в жизни ни при чем.

Вот этот мир, где спросится с меня,
Воздастся по делам и не простится.
Где целый день раздавленная птица
Беспомощно чернеет на камнях.
Где только слово может обратиться,
Текущее значенье изменя,
В другую жизнь...

* * *

Чтобы вернуться в город,
бросают в реку монету.

Поверье

Мой город бережет тебя,
Ты в этом городе хранима
Охранной грамотой дождя,
Охранной грамотой гранита.
Мой город — сумрачен и строг.
Мой город — каменный наставник.
Мне этим городом оставлено
Короткое дыханье строк.
И не испытывай судьбу
Монетой медной и лукавой,
Легко летящей по лекалу —
Нельзя вернуться в Петербург!
Если однажды в нем была —
Ты навсегда в нем остаешься...
Скорбящий ангел два крыла
Приподымает осторожно
Над площадью. Не улететь.
Такая тяжесть за плечами:
Исполненные все печали
Живущих в городе людей.

Это дождь за окном. Это ветки устало стучат.
На вершинах промокших рябин начинается ропот.
Ну а в комнате этой опять одиночества чад,
На слова и предметы осела тяжелая копоть.

Мне хватает дыханья на долгую эту строку.
Одиночество названо. Что мне теперь опасаться?
Паутинкой потянутся дни, промелькнут на бегу,
Будут ночи над ними, как своды деревьев, смыкаться.

Не кончается дождь. Я опять не увижу звезды.
Только эти — вразлет — побежденные ветром вершины
Так легко успокоят меня: далеко до беды,
Как всегда далеко, если эта беда совершилась.

М. Устинову

Как в детстве — качели и сосен мельканье,
Как в детстве — спокойно и просто
Дожить до сочельника — очарованья
От елки в сиреневых звездах.

Дожить до сочельника, не замечая
Безвременья, лжи. И запомнить,
Что день наш беспомощен и случаен,
И сердце тоской не восполнить.

Что песни рождает ожог ожидания
Сочельника, счастья, забвенья,
И тем неизбежнее наше свиданье,
Чем дольше продлится мгновенье

До встречи. Судьба наша переломилась,
И ей не отыщешь значенья.
И нам остается последняя милость —
Дожить до сочельника.

Я в этой жизни — словно в долговой яме.
Но выдержу — не потому, что одержим долгом.
Но выдержу — не потому, что одержим ямбом
Или румяным певчим восторгом.

Всё проще. Я заготовлю
На черный день — черствое слово.
Благословлю стены и кровлю
Чужого и случайного крова.

Но я виновен тем, что остался.
Что наблюдал вместе со всеми,
Как размывая ручей Кастаньский,
Водопроводное хлещет время.

Прелюд

Да будет вечен
 Этот вечер.
И ветви голые,
 И ветер.
И снег, который не растает,
И птиц неприлетевших стаи,
И ты, живущая на свете.
Да будет он
 Высок и светел.

* * *

Вот стрекоза, припавшая к стеклу,
Шуршащая, сухая оболочка,
Без устали разгадывает мглу,
Что достигает спелости полночной.

С полудня залетевшая сюда,
Застывшая на крохотных пуантах,
Прозрачная крылатая слюда,
На грязной и заброшенной веранде.

Вот так и умерла, не разобрав,
Зачем окно и скользкая преграда,
Зачем недостижима свежесть сада,
Ведь только и хотела, что добра.

Но тело, прекратившее полет,
Изнемогло от ожиданья сада,
И черный бисер высохшего взгляда
Уставлен за оконный переплет.

Простое

Страницу устреми
На созерцанье леса,
Где черные прямые
Деревья и белесы
Кустарники.

Устав

От тяготы неверья,
Страницу опростай
Для воробья и вербы.

Но прежде, чем зари
Звучание усвоишь,
Страницу разорви —
И сердце успокоишь.

Незавершенный стих
Непоправимо точен.
И даже многоточьем
Его нельзя спасти.

Сад

В заброшенной всеми глуши
Лишь заросли дикой сирени.
Но даже и в этой тиши
Душа — суверенна.
Душа непричастна к вещам,
От мира — отдельна.
Зачем я другим завещал
Её беспредельность,
Когда она только во мне,
Со мною прервется
(Слепое сиянье на дне
Глухого колодца).
Разъятая с миром,
Она
Тожественна Богу:
Глубоким покоем полна —
Так много.
Но все же останется мир,
Где тронувши ветку рукою,
Почувствую — это живое...

* * *

Махнуть на всё рукой,
И горечи не надо.
Оставим листопаду
Пересказать январь.
Махнуть на всё рукой,
И попросту отбросить.
Высвечивает проседь
Дорожную фонарь.
Однажды опустеть;
Струится безмятежно
Поземка на Манежной —
Ей некуда успеть.
И льдины на Неве
Затоплены и тают.
Над головою стая,
Как чернь по синеве.
И жестяным нутром
Грохочут водостоки.
Прорвавшиеся строки
Разбросаны кругом.
Не надо подбирать.
Иди — и без оглядки,
Как в фосфорном порядке
Подъездов номера.

Оттиск

И вот мое свидетельство о жизни:
Белесая от сумрака и снега
Нас посвящает улица в прохожих,
И мы послушно следуем за ней.
Прохожие из всех моих сограждан,
Наверно, наиболее свободны,
Но рвутся в комнаты.
На это есть причины
У каждого свои. И мы идем
В одну из этих комнат,
Где нас встретит
Хозяйка, и обрадуется встрече,
И что-то будет быстро говорить.
Начнется вздор возвышенной беседы,
Что тянется не первое столетье,
Пройдет сквозь нас, догадку оставляя,
Как нескончаем этот разговор.
И наконец его прервет ребенок,
Вернувшийся из школы. Слава богу,
Что девочка так вовремя пришла.
Она внесла загадку перелома,
Таинственную ноту пробужденья,
Улыбчивость доверчивую детства
И отрочества неуклюжий стыд.
Пред чистотой ее, неразуменьем,
Застенчивостью, искренностью взгляда
Я замолкаю, поперхнувшись словом
Уже никчемным...
Тогда ты скажешь, что пора прощаться.
Ну что ж, действительно, пора настала,
Прекрасная и горькая пора:
Забуть перо, превозмогать заботы,
И терпеливо объяснять ребенку
Причину снега, ветра и дождя,

И многое другое. Кончить сказкой
О Красной Шапочке и Сером Волке...
Ну вот и всё. Но темное смятенье
Так выросло во мне, что не хватает
Сил вынести. Поэтому осталось
Мне только с другом разделить его.
Мы вместе эту горечь разбазарим.
Но прежде, чем я руки отогрею,
Он скажет то, что ничего не значит,
Но что еще скрепляет нашу жизнь.
Что согревает улицы ночные,
И одиночество лишает формы,
Что выше правды и дешевле фарса,
И что я напоследок прокляну.
«Всё хорошо», — он только это скажет...

Очерк Манежной площади

Всё это гибнет на моих губах:

Деревья в сквере, воздух-миротворец,
Замерзшие пальто в очередях
И пролетевший в серых «Жигулях»
Отъевшийся веселый чевенгурец.

Бессмертный Гоголь четверть века ждет,
Когда его гранит увековечит.
Выходит на прогулку детский взвод
Брать приступом пропагандистский дот,
Которому на площади перечит

Лишь воздух-миротворец, только он
Такой свободой воли напоен,
Что в этом поле, этом пойле — воин.
И это цель, которой испокон
Был человек достоин.

Всё это гибнет на моих губах.
Есть дерево, есть облако и страх,
Что в дереве и небе больше смысла,
Чем в нашей жизни. Мера всех вещей
Не в силах оставаться эталоном,
Когда перед тобою мир ветвей,
Не говори: «Каков он? Или чей?» —
Оставим разбирательство воронам.

И оказалось, площадь ни при чем.
Мне было плохо, дело было в том,
Что хуже быть не может, — так казалось.
И голос мой запутался в ветвях
Не раньше взгляда, и само сказалось:

Всё это гибнет на моих губах.

Я начинал по площади кружить,
Кругами выверяя слово «жить»,
Которое единожды дается
И славно произносится весной.

На площади не жаворонок вьется,
А ветер между небом и землей.

«Всё те же мы...»

Пушкин

Я говорю: мы будем друг другу верны.
Друг другу вины не отыщем,
Но дай твою руку.
Товарищ, товарищ, под сводом больной тишины
Восславим поруку.
Протяжная тема. Лицейского братства кайма
Еще не истерлась. И здесь нам положен образчик
Прекрасного слога, забытого всеми письма.
Другие растащат
По строчкам, по крохам, по дружбам,
По краешку чувств
Чуть-чуть для души — наболели пустоты и бельма.
Торжественный выпуск. Впервые означен союз.
И нас продолжает нелепая доля Вильгельма.
Восславим поруку. Есть тайна прощания в нас.
Отсрочка разлуки и есть дорогая готовность
Расстаться немедля...
И я говорю: мы сегодня друг другу верны.
Мы клясться не будем, довольно читателя тешить.
Товарищ, товарищ, под гнетом огромной страны
Останемся те же.

* * *

Недвижны листья на воде.
Канал спокоен и неласков.
Оцепенения негласный
Надзор осуществлен везде.
Как тягостен такой покой,
Когда затруднено дыхание,
И живо только замиранье
Сухой листвы над головой.
Когда безмолвие аллеи
Ленивым грузом давит душу,
И воздух ртути тяжелей,
И лист не кружит, —
Тогда мне хочется долой,
Куда глаза...
Чтоб только встретил
Меня за поворотом ветер,
Восторженный, холодный, злой.

* * *

Мы жизнь постоянно сверяли
С игрой на свирели.
И зря:
Несравнимые дали
И разные цели.
Играли —
О только чудесней, —
Как лучше старались.
Но как ни горьки наши песни,
А всё — пасторали.
Ну то-то. И нечего спорить,
Что жизнь одолели.
Мы только сумели освоить
Игру на свирели.
Довольствуйся малым. А впрочем,
Того и хотели:
Обманывать жизнь и морочить
Игрой на свирели.

Я эти дни не прожил, а скормил
Чужому дому с образцовым счастьем.
Мой прежний, мой сутулый, милый мир —
Я возвращаюсь.
Я возвращаюсь, о неслышный мой.
Мне без тебя любое место — пусто.
И этот город, лакомый до хруста, —
Чужой.
Мой мир — иной.
Он может быть убог, но не исчерпан.
Он так же чист, как месяц на ущербе
Весной.
Его никто не повторит,
Мой мир вторженьем не нарушен.
И потому ли приоткрыт,
Что никому уже не нужен.

В. Черешне

Луна из белой жести. Сквозь листву
Холодное и резкое сверканье.
Пишу письмо о том, что я живу,
И думаю, какое дать название

Вот этой жизни: одинокий дом,
Густая виноградная завеса,
И яблоневого ветви перелом
Под тяжестью округлого железа,

Подаренная чистая тетрадь,
Где на обложке лодочка и парус.
Ну что еще? Давай перечислять
Зеленых виноградинок стеклярус.

Вот эта — одиночество, а та —
Безделье, а четвертая — положим
Ее отдельно. Чем ни занята
Душа, мы всё равно тут не поможем.

По каплям разбирая эту гроздь,
Бесхитростный рисунок обнаружим:
На этой даче проживает гость,
И он сейчас себе готовит ужин

И думает, что взгляд со стороны
Глупее наших внутренних догадок.
А если мы чему-нибудь верны,
Так это им. Какой-то есть осадок

В попытке объективного письма.
Его самонадеянная точность
Сомнительна, поскольку жизнь сама,
Быть может, гениальная неточность.

Застольная

И право, пора веселиться —
Апрель промотаем.
Товарка, подруга, сестрица,
Чего пожелаем —
Не сбудется.
Присказка Парки,
Присловица грусти,
Протяжное пенье флюгарки
Среди захолустья.
Не сбудется, и ни на йоту!
За это и выпьем,
За жуткую нашу свободу
С костлявым улыбьем.
С лихвой обдерет еще горло
Горячая трезвость.
Настойчиво щелкнет щеколда,
Захлопнет окрестность.
Поэтому, шапку по кругу,
И с миру по нитке,
Пока далеко нам до стука
В такую калитку.

* * *

Уйдем, давай уйдем
В мой необжитый сад.
И я покажу тебе дом,
В котором уже не грустят.
Дом на краю глуши,
Выбелена стена.
И на столе кувшин,
В комнате — тишина.
Куст растет за окном,
Лакомится пчела.
Кончится день добром
Нынче, как и вчера.
Видишь, луна кругла,
Полночь падает ниц.
Глянем мы в зеркала
И не узнаем лиц.
Это лунный озноб
Нам не дает уснуть,
В этом доме окно
Не обещает путь.
Только был бы уют
Нашей общей судьбе...
Это дом на краю
Вымысла о тебе.

* * *

Но посвист птицы поутру —
Вы замечали? — он трагичен.
А это ежедневный труд,
Который скучен и привычен.

Для птицы это сущий вздор —
Четыре или пять созвучий.
И настороженный простор
Уже до мелочей изучен.

И так постылы голоса
Соседнего куста и сада,
И так назойливы глаза
Ценителя тройной рулады,

Что надо начинать запев
Восторженно и небывало,
Чтоб слушали, оторопев,
Как воздух звуком разрывало

И лопалась кора стволов,
Когда взойдет над перелеском
Чугунный гул колоколов
И ломкая печаль челюсты.

И птица начинает петь,
Свистит светло и одичало,
Но голос не преодолеть —
Одни повторы и начала.

Февраль

Что я стою на площади Манежной,
Что я живу, и этот город снежный
Весь для меня — так странно, погоди,
Еще немного так же погости.
Я говорить хочу широким словом,
Неважным, ненадежным и неновым,
Как эти дни. Водой сквозь решето
Проходит речь. Благодарю за то.
Сравнительный итог тридцатилетя
Не более пословицы, где плетью
Холодный обух не перешибешь.
А хочется сказать: переживешь.
Переживешь, у города дыханье
Займешь, и не заметишь «до свиданья»,
Которое летит со всех сторон —
Нашествие глухонемых ворон.
А только и заметишь снег прилежный,
Что падает на площади Манежной.
Губами на лету его лови,
Земную жизнь пройдя до полови...

Такая пустота налита за окном,
Что на локте привстав, я разгляжу воочью,
Что в мире есть Ничто, невидимое днем,
И разглядеть его возможно только ночью.

Мой профиль у окна — полночные черты —
Как сделанная вещь — прекрасен и бездарен
На фоне этой мглы, на фоне пустоты,
Окликнувшей меня, которой благодарен.

В той жизни за окном ничто не решено,
Не начато ничто, — лишь чистая возможность.
И если соблазниться этой тишиной,
То можно громоздить оплошность на оплошность.

Такая пустота, так за окном темно,
Что устают глаза от безымянной зыби.
И близится рассвет, и распахнуть окно
Торопится рука, затекшая на сгибе.

В больнице

Больной с обритой головою
Язвит над собственной судьбой:
«Мол, из приемного покоя
На вечный угодишь покой».
Старуха надевает чепчик,
Приготавливается ко сну.
И что-то по-овечьи шепчет
И обращается к окну,
Где вместо образóв — бутылки
Из-под кефира и воды,
Цветы, пакеты и посылки,
Где запах йода и беды
Граничит с мартом. В коридоре
Явленье главного врача.
А в голове все тот же Йорик
Да смерть Ивана Ильича.
Всё те же прежние кавычки
О суете и о страстях,
И только-то. И с непривычки
Какой-то тошнотворный страх
При виде воскового тела:
В дворе больничном, на ветру,
Два санитаря неумело
С тележки скидывали труп.

Прогулка

Летит ворона с правой стороны,
Хотя и не сова, а день счастливый.
И греки правы. Все-таки, дика
На побережье Финского залива
Античная примета. Облака
Оберегают лоно тишины.

Как шахматы, расставлены на льду
Любители подледного азарта.
Согнувшееся равенство фигур.
Привыкшая к лишениям и труду
На сундучках закоченела Спарта.
Трехчасовой воскресный перекур.

Синицы надрываются. Семья
Гоняется на лыжах за здоровьем.
Тяжелое дыхание телес.
Железная садовая скамья
Утоплена в снегу по изголовье,
И безмятежен снеговой балбес.

Почти как автор. — Старый поворот,
Развилка к сердцу. Только не сегодня.
Лирическое выбросим клише.
Такой нагородили огород,
Такая верноподданная дворня,
Что невозможно больше о душе,

А можно о сугробах. Потому
И день счастливый. Обойдемся снегом,
Полетом птицы с правой стороны,
Чужим уловом, посторонним бегом,
Холодным дуновеньем тишины.

Топится печка

О как тяжело придыханье огня!
Томится и мается пламя,
Как будто стыдясь перед нами,
Себя принуждая, гоня.
Я раньше сказал бы: оно про меня
Надрывно, простуженно воет.
Да только немного стоит
Жалеющая болтовня.

Не скоро нальется холодная печь
Размеренным, мощным гуденьем.
Не лучше ли жаркая, рыжая речь,
Ее содроганья, биенья.
Вот так и бывает, когда взаперти
Бушует слепая свобода,
Стремясь безошибочно выход найти,
Исчезнуть в дыре дымохода.

Пускай вылетают на этот мороз,
Летят, на ветру обмирая,
Последние клочья осин и берез —
Клочки раскаленного рая.
Пускай пропадает рассеянный дым,
Теряется в крошеве снежном,
Холодном, колючем, и все же родным
Ему становясь неизбежно.

Т. Д.

Присутствует какой-то смысл в распаде,
Совсем не тот, что в притче о зерне,
Где происходит разрушение ради
Рожденья, — утешительно вполне.
Не тот, что постоялец из подполья
Выискивает, перышком скрипя,
(Как тягостны записки исподлобья,
Как ненавидеть хорошо себя!) —
Но смысл прорыва, дикого стремленья
Из жизни: извести ее на нет,
Оставив искренность изнеможенья,
И подлинность, похожую на бред.
Мы сами знаем в сумасшедшей спешке —
Так в ливень задышается вода —
Во что нам обойдутся те издержки,
Мы чувствуем торопимся куда.
А более разумных объяснений
Не нахожу, но предложу одно
Потустороннее: угрюмый гений
Распада призывает нас на дно.

Апология пьянства

Зайди в рюмочную, стряхни
Наважденье эфирное, шорох последних известий.
Стограммовая радость, веселый стрихнин.
Вместо карты Европы откроется атлас созвездий.

Закачаешься. Вот равновесие, вот
Центр легкости, новая точка опоры.
Прогибается воздух и сфера растет,
Окружая простором.

Вот реальность навыворот: скромный рукав
На поверку — подкладку — окажется диким.
Спотыкается улица, угол сломав,
И огни фонарей, словно речь у заики,

Запинаются. Где виноградная гроздь,
Дионисовы чаши — пивнушка у сквера,
И стаканы, и горлышка белая кость,
И пропойцы — любимцы Рабле и Бодлера!

Вольность как таковая. Гуляй — не хочу.
Три часа без оглядки — не много, не мало.
Чижик-пыжик, пиши, это нам по плечу,
Чижик-пыжик, пиши, брат, пропало.

В слове «пропа́сть» прочитается алчная пасть
Небытия. Разрушения нёбо алеет.
Надо же было этому в душу запасть.
Возненавижу, если меня пожалеют.

Сколько я видел юродивых, спившихся — дно.
Не говоря о слепых, погорельцах, убогих.
Надо же было чувствовать с детства одно:
Я ни при чем здесь, и все же, виновнее многих.

То-то тянуло — ведь главное знают они —
К этим изломанным жизням и судьбам разбитым.
Вот и теперь, как ребенок, пристал: «Объясни».
«Нет, — отвечает, — и не надейся, не выдам».

Надо же было вплотную отчаяться так,
Чтобы искать утешения только в разоре.
О, любопытствующая оглядка на мрак!
Все-таки, мал еще опыт накопленный горя.

Иосиф в яме

Веселый дар приветливости — знак
Благословенья; светлое спасибо
За то, что этот мир устроен так,
А не иначе, — никакого «либо».

Люби соединительное «и»,
Связующее прихотливой лентой,
Все помыслы Твои, дела мои
В историю, растущую легендой.

Падение — необходимый шаг
Для возвышенья. Двойственность предмета —
Приветлива. И что такое мрак,
Как не лукавая изнанка света?

Терпение уничтожает срок.
Благословенье — навсегда запомнить,
Не проморгать божественный намек,
Откликнуться и празднично исполнить.

Памятка

Летел по городу песок,
И поле Марсово дымилось,
И вихри шли наискосок,
Закручиваясь. Всё двоилось
И ныл висок.

Вступала головная боль.
Кора обоих полушарий
Трещала поперек и вдоль.
По Миллионной ветер шарил,
Гоня ноль.

Единый жест у горожан:
Схватиться за голову в страхе,
Своею шляпой дорожа.
Как будто вспомнили о прахе
Всех каторжан.

Как унизителен наклон!
Но выпрямиться тяжелее.
Какому беглецу вдогон
Несутся гончие Борей?
Антициклон.

Поглубже кепку нахлобучь,
Иносказательно строкою
Закутай горло. Он могуч,
Железный ветер над Невою...

Беседа

На лужицу разлитого вина,
На книжные с тоской уставясь полки
Ты говоришь о смерти, что она,
Наверное, особый вид прополки.
Где вырывают непременно с корнем,
Где глупо разбираться в сорняках,
Где каждому лететь по этим штольням.
И в голосе твоём совсем не страх

И не усталость. Я себя ловлю
На зависти: «О, Господи, готова».
Та женщина, которая «love you»
Зачитывалась и читала снова, —
Подергивает уголками рта,
Плечами раздраженно пожимает,
Как будто бы проведена черта
И надо разглядеть, а ей мешают.

Прибавка к зарплате

О том, как плачут, кусают платок,
О том, как растравливают обиду,
О том, как вынашивают упрек,
Короче, — о метафизике быта.

То есть, о вздрагивающих губах,
О словах ядовитых, срывах,
Нервах, истериках, о делах
Справедливо-несправедливых.

О зависти, шепоте за спиной,
О виновато-покорном взгляде.
Господи, почти о дитяти,
Только с наследственностью дурной.

О жизни сощурившейся, о дне,
Успокоенном длинной злобой.
При виде начальника тишине
Наступающей, узколобой.

О том, что люди знать не должны...
Что ты маешься в коридоре?
Не глядеть бы со стороны
На бездарное это горе.

Место работы

Германн сошёл с ума и сидит взаперти.
Мы сидим на работе с восьми тридцати
До пяти пятнадцати пополудни.
Эти два числа означают будни.
Тихо сиди на стуле, в окно смотри,
Если верить графу, то нас внутри —
Царство Божие. С таким содержимым
Можно сидеть на стуле с любым режимом.
Это стихи про службу — мать ее —
Нас учили в школе, что бытие
Определяет сознание. Эта фраза
Предполагает создание поэмы плаза.
Это всё неслучайно и поделом.
Я инженер-электрик, есть диплом.
Есть оборона страны и программа «Время»,
И отношение к ближневосточной теме.
Рядом сидят коллеги, все вполне
Люди благопристойные, все оне
Напоминают мне творожную массу,
Что расположена между рабочим классом
И трудовым крестьянством. В таких щипцах
Только орех дворянский расколот в прах.
В этом присутственном месте, дав подписку
(Пишется слитно) незримому василиску
Строгой секретности, я присягал Отчизне
Знать-ничего-не-знать о швейцарской жизни.
Это всё атрибуты, знаки, приметы,
Что говорить о сути, то сути нету
В этом ящике номер..., в этой палате.
Германн сошел с ума и сидит в халате.

Комсомольск-на-Амуре

1

Дверь, как флаг крестоносца. На что мне ее крестовина
В городке на Амуре, где комната, словно корзина,
Полукругла. Такое сравнение допустим,
Потому что назвался, ну что тут поделаешь, груздем.
Ничего не попишешь, а если письмо и напишешь,
Все равно не узнают, как ты отвратительно дышишь.
Эти зимние сопки — кабаньи горбатые спины.
Привыкаешь нескоро, глаза устают от щетины,
От гипсовой радостной дуры, от площади блином,
От встречного ветра, от снега, летящего клином.
И вьюга такими затянет окно кружевами,
Как будто она разглядела круги под глазами.

2

Обшарпанный город, вздохнувший под натиском вьюги,
Становится белым, как имя славянское «други»,
Которое так благодарно на белой бумаге.
На площади белой беснуются красные флаги.
И божья коровка порядка, мигая вертушкой,
По снегу плывет голубой заводною игрушкой.
Я в комнате этой, где столько замков и задвижек,
Подробность, ненужная городу, просто излишек
Его населения, не находящая спроса,
Застрявшая на побережье Амура спиноза.
А дикторы утром особенно рады стараться:
В Москве уже полночь, и, значит, пора одеваться.

Место жительства

Быть может, мне роднее этот край,
Чем питерская наша перспектива.
Кого ты выбираешь, каравай
Отечества? У Финского залива
Мы по наследству получили пай.

Быть может, мне роднее городок
С дальневосточным, исподлобья, взглядом,
От коего по телу холодок.
И я бы восторгался Ленинградом
И к Смольному проспекту был ходок.

К тому подъезду, где сейчас живет
Печальный друг, считающий своею
Любую вещь.
Для русского еврея
Особенно пленителен исход
(Как перелет, причем континентальный),
Но это слово черт не разберет,
Поскольку впереди исход летальный.

Как правило, от перемены мест
Меняются слагаемые вирши.
Но все-таки, неважно, что окрест:
Заснеженные сопки или Биржа.
В поэзии мы проставляем крест
На прошлом. Это нам необходимо
И это никогда не надоеет.
Сегодня городок ослеп от дыма,
Клубами восходящего до звезд.

Гидраргирум упал до сорока,
Подмигивая цифре на бутылке.
Страна моя родная широка.

Давайте-ка, отправимся на Мылки¹
И круглого сваем дурака.

Мы не узнаем там наверняка,
Что напечатал нового Иосиф.
И на прогулке, щеки отморозив,
Мы отогреем оные в кино.
И все это не больно, а смешно.

Окрестности пугающе тихи.
На то они крещенские морозы,
Что исторгают вечером стихи,
А на рассвете выжимают слезы.
Условия для жизни неплохи.
Короче говоря, судите сами:
Вы прочь переезжать или непрочь?
Пока я усмехаюсь над словами,
Которыми исчерпываю ночь.

¹ Мылки — район в Комсомольске-на-Амуре.

Пригород

Я ждал эту тишь, когда снега насыпано в локоть,
И прохожую мышь позволительно трогать
За рукав: не найдется у вас «Беломора?» —
Обругав, уползет в коммунальные норы.
Я ждал эту тишь, когда только и слышно, что скрипы
Башмаков. Постоишь, поглазеешь на синие глыбы
И в строку угодишь: мы такое сыграть не смогли бы.
И не надо толочь в этой чертовой ступе глаголы.
Проморожена ночь юго-западным ветром монголов.
Задохнешься в дохе, что тебе нацепили с чужого,
На каком пастухе эта шуба сидела толково?
Я сегодня отдам деревянную дань просторечью,
Невысоким домам, переулкам пуховым Заречья,
Где гостей на порог не пускают пугливые лайки,
И раскосый намек на устах у веселой нанайки.
Где торговцы кетой аккуратно считают червонцы,
Где соленый покой навсегда запечатан в оконце.

Подражание Тютчеву

На озере закат. Блестает стрекоза,
И немощная ночь восходит на востоке.
И порсканье плотвы среди густой осоки
Перерастает в шум. И глохнет полоса
На западе, сменив малиновый на медный,
И небо надо мной приобретает лик
Того, Кто дорожит и этой тварью бедной,
Кто к жалобам сверчка и муравья привык.
Кто с нами говорит на языке зарницы,
Чтоб узнавали мы тот час предгрозовой,
Когда летит листва, и умолкают птицы,
И шелестит земля испуганной травой.
И так уже темно, что листья у кувшинок
Сливаются с водой. И ветер теребит
Прибрежные кусты, и дерево, как инок,
Смиренно и черно у заводи стоит.
А небо надо мной торжественней и выше.
Так что же наша речь? — Чудесный чернозем.
И стыдно сожалеть, что небо не услышит,
Когда его слова мы вслух произнесем.

Он был плацкартный, верхний, боковой,
Подрагивающий этот угол зренья.
Я вслушивался в паровозный вой,
Какой-то истеричный, роковой, —
В летящее во тьме предупрежденье.

К чему оно относится? Ко мне,
К заснеженным пришибленным поселкам?
А, может быть, огромное: к стране,
Похмельно разметавшейся во сне?
Не ведаю, не разбираюсь толком.

И для чего буравит пустоту
Протяжная безумная побудка?
Чтоб просыпался человек в поту
И озирался, щурясь на ветру,
Не понимая, почему так жутко.

Но разве это первая из зим,
Где я дурным предчувствием обласкан?
И трудно удивить еще одним,
И вслушиваться надоело. Спим,
Под перестук, сменяющийся лязгом.

И вспоминая, как-нибудь, потом
О давящем полуночном кошмаре,
Мы все-таки уверены: и днем
Мы выдержим его, перенесем,
Не допуская: он уже в разгаре.

Точки над і

1

Не дай мне бог, когда-нибудь сказать,
Что прожили и рук не запятали.
Но дай сказать, как ложью пеленали,
Как в переулке, в каменном пенале,
Мы от прохожих прятали глаза.

2

Максималист, мальчишка, правдолюб,
Настойчиво взыскующий ответа,
Услышит мой рассказ и не поймет,
Что в наши дни существовала мета
Одна для всех. И оборвав беседу,
Произнесет презрительно: «Помёт».

3

Не странно ли, что одиночный страх
Один на всех. Как этот вкус ни горек,
Я не из тех, кто мученик и стоик,
О них пока не время, и не стоит.
Поговорим, пожалуй, о стихах.

4

О, это не уловка свысока:
Перевести ответственность на знаки
И символы другого языка,
Привычного для слуха и бумаги,
Безвестного, как звук издалека,

5

Прекрасного... Таким и говорим.
И наша речь, тоски и покаянья,
Для современника — искусный грим.
И все-таки, пробьются через дым
Иносказаний — наши показанья.

6

Ты ошибешься, будущий истец,
Рядящий нас то на скамью, то в судьи.
Мы прожили кто лучше, кто пустей.
Но то, что оставалось на листе,
И было нашей совестью и сутью.

Лучше не знать, что думает больной,
Лишенный речи и движенья.
Его пытается зной
Какой-то мысли, нет ей разрешенья.
Он просит пить,
И чтоб его перевернули набок.
Не может жизнь забыть:
Зачем ветвистый нам привили навик?
Или земной юдоли слаще нет?
(И как-то странно руку поднимала,
Как если бы хотела дать совет.
И комкала и мяла одеяло.)
Лучше не знать, умышленно ли плоть
Унижена, страницу назиданья
Предусмотрел Господь?
Или случайно попаданье?
Лучше не знать... Но сны меня томят
Другим: последнее мгновенье
Я вижу — удивленный взгляд
И тяжкий вздох освобожденья.

Смерть — это роды наоборот.
Страшные лицевые гримасы,
Холодеющий постепенно грот.
На волю, на волю, в пампасы,
Никем не виданные. Душе
Необходим акушер,

Азраил, уводящий в ночь.
Руки сложа, сажу на стуле.
Я ничем не могу помочь.
Обезболивающие пилюли
Только в памяти нахожу.
Третьим лишним сажу.

Ты говорила мне «егоза»
И в нелепом тазу купала.
Вот я твои закрыл глаза
(Это не много, но и не мало),
Преодолев испуг,
Соединив концы и начала.
Линия линий: круг.

Наконец — тишина.
Но еще на подъеме,
На подъеме волна,
Но еще в буреломе

Звуковом голова.
После стихотворенья
Так же жажда жива.
Но еще вдохновенья

Гребешок на волне.
Сколько это продлится,
Прежде, чем растворится
В наконец-тишине?

Куст

В прожилках смерти жизнь.
И руки старика,
И голубь, бьющийся в окно всей грудью,
И эта темная ленивая река,
Чуть отливающая ртутью.
Двоящееся эхо.
Кто кого
Аукает, уводит, окликает.
Чье поражение или торжество?
Зачем меня все это занимает
В минуты счастья?
Видимо, душа
В земном существовании коротком
Не надивится миру, что дрожа,
Из умиранья и цветенья соткан.

Письма 1908 года

Толстому пишут письма. Гимназист,
Он девственник. Его гнетет забота
От ядовитого ночного пота
Избавиться. Он на руку нечист.

Американцы — фермер, финансист,
Тамбовская курсистка — просят фото.
Без подписи, «от имени народа»,
И угрожает бомбой — террорист.

Желания исполнятся у всех.
Познает гимназист искомый грех,
Курсистка, рассуждая о таланте,
Укажет на подаренный портрет.
И с опозданием на 40 лет
Тишайшего взорвут Махатму Ганди.

Муравейник

Ты скажешь: «Копошение». А я
Им позавидую; ну чем не фаланстера
Под елью, сен-симонова семья.
Ни самодержца вам, ни Робеспьера.

И одиночка непонятен тут
С его расплавленным мечтаньем.
Неугомонный и ползучий труд
С неслышимым почти шуршаньем.

Соборность хвойная, и я бы так хотел.
Растет шевелящийся купол.
Я, кажется, к артели охладел,
Но для содружества не убыл...

Я вспоминаю ваши голоса,
Проголки наши и попойки,
Сколоченные намертво леса
Такой чудовищной постройки,

Где своевольные всегда
Бесцельно сомкнутые своды —
Не сумма общего труда,
Но личной поиски свободы.

Вопросы другу

«Город на Лесбосе есть Митилена — большой и красивый». Долгий период. Дался тебе греческий город. Сможет ли выдержать жесткую речь абразива
Тонкая роспись фарфора?
Это не жалобы, это о жизни, о желчи
Наших идиллий. О выделке прочного горя.
Каждый в воронку вранья и обиды заверчен,
А говорит про другое.
Что наши судьбы? Название, дата, виньетка,
Странно лишённая смысла, нелепица линий.
Чёрный значок одиночества — точная метка,
Оттиск ключа в пластилине.
Нет виноватых. Мученье зачем обоюдно?
Всюду правёж. Без него и любви не представить.
Город на Лесбосе есть — акварельное утро
В средиземноморской оправе.
Как же нам быть? До полночи сидеть у знакомых
И, выходя из метро, не смотреть на таблички,
Полуживым добираться до первой платформы,
И засыпать в электричке.

Троллейбус

Остановки, толчки, остановки. Скорее дойдешь.
Утомительно длится Литейный. Сплошные заторы.
Все устали и взвинчены, некогда всем, невтерпех,
И на всех перекрестках горят кумачом светофоры.
Эти локти и сумки, портфели, колени, зонты,
Обязательный кашель соседа и шорох страничный.
Все читают газеты — так вот, золотые плоды
Просвещения общего. Впрочем, не так иронично.
Ничего тут смешного, напротив, такая тоска
Подступает, как только посмотришь на сонные лица.
Эта послерабочая выжатость так мне близка,
Что... когда же мы выйдем? Литейный все длится.
Чертыхается кто-то. Ну мало ли в жизни причин
Для обид, раздражений, — нам тоже похвастаться нечем.
Но вступать в разговор неохота, давай помолчим.
А Литейный все длится, да что он и впрямь бесконечен?
Чувство локтя — буквально. Ведь должен быть общий язык,
Горожане, приезжие, если мы стиснуты, сжаты —
Ну, хотя бы в троллейбусе, в час называемый пик.
Неужели в том дело, что разные ценим цитаты?
Современники — ловкое слово, удобное всем.
Это полое слово, и все же судьбу не вмещает.
Наконец-то выходим. Часы отчеканили семь.
Снег — такой пеленой, что прохожего видеть мешает.

Ноябрьское небо, как потускневший снег,
За перелеском давится дымом труба.
Резкий, остроугольный ветра порыв,
Плеск на вершинах сосен.

Чайка летит к заливу. Невпопад
Чиркают воздух крыльями воробьи.
Тавтологию одиночества представляет собой
Человек на пустой платформе.

Это в пределах видимости. Внутри
Человека продолжены этот сырой пейзаж,
Стих алкеев, обламывающий тоску,
И на смерть оглядка.

«И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может».

Б. Пастернак

Проходя мимо дома, где подруга жила,
Не хочу говорить: «вот такие дела».

Не хочу понимать и кивать головой.
Я хотя бы для этого жеста чужой.

Проходя мимо дома, мимо этих дверей,
Не хочу я твоих милосердных ветвей

И шумящей листвы. Не хватает мне сил
Любоваться наклоном и блеском перил.

Восхищаться узором оград кружевных.
Это все хорошо для прогулок иных.

А на этом пути избавления нет.
Выбирай в провожатые горечь и бред,

Да бессильную ярость, которой цена —
Иступленная, злая ходьба дотемна.

Удаляясь

Теперь смотреть на жесткое лицо
Прохожего. Оно напоминает последнего вагона
Плоский лик.

Смотреть на олимпийское кольцо,
Чтоб горечь захлестнуло раздраженье,
К которому привык.

Смотреть на пыльный сквер,
Где ни одной,
Что так по-человечески, скамейки.

На проходной
Двор, где объятие вспугнул
Тип в тубетейке.

Смотреть на это всё,
Но взгляд застав
Тобою, ничего уже не видя
Поэтому. В размер или рукав
Не попадая, рельсы ненавида.
Трамвайный чинят путь.

Чем возразишь
На скрежет щебня?

Согласен, чтобы жизнь была ущербна,
Мучительна, но — только не пастиш¹.

Свет резкий расставания, слабей!
В рассеянном увидим по-иному
Себя и силуэты тополей,
Листвы темнотяжелую истому.

Чем удаленней, — пристальнее речь.
А всем великолепием надрыва
На расстояньи можно пренебречь.
Но чтобы так же было сиротливо...

¹ Подделка (фр.).

Прощание

Вот и дождались ладожского льда.
Упражнение на дом:
Нева и вечерняя веточка грусти.
Я пока прогуляюсь,
Прогуляюсь по острову —
Нотной бумаге проспектов.
Проблуждаю мелодию и не замечу ее.
Здесь меня провожает темный вдох подворотен,
Шелестенье прохожих
Да испарина беглых речей —
Общий вздох сожаленья.
Словно все упустили возможность,
Возможность надежды.
Так останемся раз в дураках.
Время, ласковый шулер, и так обведет вокруг пальца.
Этот вечер в награду нам дан.
Разгляди в нем простое уменьше:
Говорить только правду.
Вон деревья стоят и птицы над садом.
И ты уезжаешь, а я остаюсь.
И Нева где-то рядом.

Возьми себе малое: мелкий и частый покой
Дождливого утра, короткие злые заботы.
А вечером — сумрак, зеленую горечь смороды,
И воздух свободы, безрадостный или пустой.

Возьми себе малое, то, что утратить нельзя.
Что не было узнано сердцем и даром дается,
Как первые песни и первые наши друзья —
Мы в них не вживались и больше уже не придется.

Возьми себе малое, так вот теперь и живи.
А там и привыкнешь —
Холодная ясность в потемках:
Не выручит больше и слово.
Окно в дождевых,
Сплошных, застилающих бестолочь сада, потеках.

Портрет

Ефиму Ярошевскому

Прозаик, похожий на грача и отощавшего сатира,
Влюбленный в рукопись, курящая рапира,
Весь — продолжение слова «вертикаль»,
Несносный наблюдатель или враль.
Прозаик, написавший вещь, в которой
Героев нужно отвезти на «скорой»
В дом отдыха, к степановым скворцам,
И где профессор медицины, сам
Доктор Мишугинер, им сделает прививки.
Роман, раешник, странные обрывки,
Заметки, четвертушки, лепестки,
Где разговоры, словно «пруссаки»,
Шныряют взад-вперед, ища прокорма.
Прозаик, обращающий на форму
Внимание, как на табачный сор,
Прозаик, понимающий, что вздор —
Подкожное заболевание века,
В котором равно все удалены
От Бога, а на место человека
Приходит человек со стороны.
Прозаик, протирающий штаны,
Чтоб неуч заучил правописание
Ударных гласных, деда Щукаря,
Еще одно последнее сказанье...
На улице, где блещут якоря,
Мне помахавший ручкой на прощанье.

На поздних поездах

Засыпая, почти засыпая, почти...
Просыпаясь от шелеста: двери закрыты.
Посмотри на соседа и строчку прочти:
«По велению Цезаря столько-то тысяч убито».

Посмотри на соседа, но я не могу превозмочь
Обожанья, презренья — неважно — их попросту нету.
Пролетает пространство, и в нем остановлена ночь,
Равнодушная к скорости и чужеродная свету.

Эти люди напротив, упорно хлямящие слух
Разговорами о..., эти лица, дразнящие зренье,
Только тем и прекрасны, что к ним устремляется дух,
Это ими играет сиятельный бес воплощенья.

То забавы художника. Так развлекается взгляд,
Проживая предмет, гарантируя вещи сохранность.
Потому понуждая к порядку словесный разлад,
Что иначе нельзя сократить откровенную данность

Созерцания: видеть предмет в чистоте,
Не запутанным именем — скрытым посредником чувства.
Это — взгляд наблюдателя, бережный взгляд на черте,
Что собой замыкает живые границы искусства.

Существование состояло из
Житья в палатке, и когда ночами
Падучая звезда бросалась вниз,
Я вздрагивал и пожимал плечами.

С полуночи сгущалась тишина
И оседала хлопьями тумана,
Чтобы к утру сплошная пелена
Затушевала домики Майдана.

Я созерцал украинскую твердь.
Сгоревшая звезда-эпилептичка
Могла бы указать на слово «смерть»,
Но ей мешала чиркнувшая спичка.

Какую-то секунду пальцы жгло.
Я убеждался обожженной кожей,
Как тает ноздреватое тепло, —
На остыванье жизнь была похожей.

Утраченной текучести взамен
Коснели очертания предмета.
Я вздрагивал, мне чудился подмен,
Я говорил: не то, не то, не это.

И жизнь моя была растворена.
Поэтому не все ль равно какое
Ей придавать значение. Она
Растворена и, стало быть, в покое.

Но если так, то вызванный звездой
Весь разговор бесцелен и ненужен.
И коробок, набитый пустотой,
Не тяготил руки и был воздушен.

Ночь

Сегодня над землю столько звезд,
Что детское доступно восхищенье,
Круглится «ах», топорщится киоск,
Термометр совпал с календарем
И указуют оба на Крещенье,
Как время указывает на Содом.

Но в горле воск. Пророческая статья
Не то что не к лицу, а неуместна.
Ответственности нам не занимать,
Хотя бы потому, что не займешь —
Растрочена. Прекрасно-бесполезна,
Как и стихи, пророческая дрожь.

Сегодня над землю столько сна,
Такие химерические зданья
Построены в блуждающей душе,
Что, наконец, скиталица вольна
Хозяйничать в подвалах подсознанья
Или витать на сотом этаже.

Поэтому засни, художник. Сны —
Есть область вседозволенного, область,
Где первенствует не предмет, но образ —
Над коим бьемся. Сонной пелены
Для этого достаточно. Но днем
Мы забываем сонный окоем.

Сегодня все чрезмерно: небеса,
Скрипящий снег, и тонкая леса
Меж ночью и стихом еще не рвется
И заменяет лестницу тому,
Кто этой ночью говорит во тьму
И знает, что подняться не придется.

Сверкает капля влаги на листе,
Омытый клен чудесно обновился...
Я этой ночью подходил к черте,
Где некогда отец остановился.

Скользящий убегающий уклон,
Какой-то эскалатор, только выступ
Отсутствует. Рука хватается сон,
Хватает сон — выхватывает приступ.

И на дыбы встающий коридор,
Тупая боль, и потолок с овчинку, —
Мерещится во всем дурной повтор,
Как будто это было не в новинку.

Как будто сверхъестественным чутьем
Из глубины сознания был добыт
Переданный отцом последний опыт
Полночного прощанья с бытием.

Живопись

У Шагала на крышах сумасшедший скрипач,
Он сейчас разобьется, превратится в калач.

Проплывет над трубою и обнимет луну,
Разольет голубую свою седину.

Он подымет протяжный и оранжевый вой,
Чтобы конь спотыкался на торце мостовой,

Чтобы зрели тюльпаны в глухой лебеде,
Чтобы женщина шла по зеленой воде.

У Шагала на крышах сумасшедший еврей,
Он совсем не разбойник и не соловей,

Он летает в оседлой, густой тишине,
И счастливый садится на плечи жене.

Подымает бокалы за нас и за вас
И целует корову в немигающий глаз.

У Шагала на крышах горит кошениль —
Дервянного Витебска ветхая пыль.

Перспектива

Дверь перекошена, ключ заедает,
Лампа мигает, окна косят,
Соль отсырела, и сахар не тает,
Жизнь неприкаянна и невпопад.

Как там ни вышло, сердца хватает
Даже на этот странный уклад.
Как незаметно к нему привыкают,
И за него же благодарят.

Бережно с нами кто-то играет,
Всё же, недаром радует взгляд
Комната эта; печь прогорает,
Ровно и жарко чурки горят.

В комнате этой вольно свистят,
Зная, что горя не накликают.

На улице

Как Он душу ее отбирал,
То улыбкой ей рот искривлял,
То несчастную за ногу дергал,
То выпячивал челюсть, то горлом
Шел и жилы на шее вздувал...
О, мне не было страшно —
Долго рядом стоял
И смотрел, как над нею сиял
Небосвод в облаках нараспашку.
Боли острой и краткой
С легким криком за чьей-то спиной,
Остальное — украдкой...
Отвернулся (не так ли и мной
Позабавишься?) — и в подворотню...
Как до жизни Ты жаден сегодня
Загримасничавшей, чужой.

На лица спящих тяжело смотреть:
Прочитывается там не сон, а смерть.
Спи, убаюканный трамваем,
Под грохот, скрежет, перестук.
Всё, что обыкновенно мы скрываем,
Проглядывает вдруг.
Хотя бы тень страдания, печали, —
Одной усталости накат.
Вот человек, которому не дали
Еще и выспаться —
Он так одутловат,
С набрякшими подглазьями, буграми,
Невольно передергивает от...
Не надо отворачиваться, — сами
Такие же.
И нужен поворот,
Грозящий катастрофою, крушеньем.
Ведь бесполезно говорить «очнись!»
Тому, кто с детства заморожен пеньем
Или кого замордовала жизнь.

Над Фонтанкой четыре дымят трубы,
Если с набережной смотреть.
Неужели плотный рулон судьбы
До конца не развернут? Трать

Этот жизни остаток на чистый взгляд,
О котором японец пел.
Иероглифы-облака летят —
Каллиграфа ветреный перл.

Так кому угрожает это каре?
(Не споткнись о двойное «ка».)
Над Фонтанкой четыре торчат тире —
Не востребована строка,

Потому что читателя воротит
От избыточности любой.
Потому что спешкою день прошит,
Да еще простеган тоской.

Челобитную некому вроде подать,
Разве пепельно-дымчатой туче.
Как неряшливо взбита чернильная прядь,
Как всклокочен и сумрачен случай.

Я и сам-то не знаю, о чем я прошу.
Как веревочка вьется привычка.
Клиновидную тучу к глазам подношу.
Челобитчик — судьба или кличка?

Только дар незаслуженный дорог еще.
Справедливость — дурная опора,
Если ангельский лик в человеке скрещен
С желтизной обезьяньего взора.

...Тогда я вздохнул и увидел, что это весна:
Свисая с карниза, коса ледяная сияла.
Обильно и жадно себя источала она.
Сверкая на солнце, как жарко она умирала!

И рушился с крыши слежавшийся за зиму снег
Тугими пластами, и охал, себя погребая.
Тотчас воздвигая на память убогий Казбек,
И падала тень от сосны на него голубая.

Текло по стеклу, барабанил вовсю водосток,
Сугроб раскисал, и дорога по шву расползлась.
Слепило глаза и нещадно ломило висок.
О, я понимаю, откуда такая усталость:

Нам трудно дается весна, безоглядный урон,
Сплошное кипение, смерть-обновление жизни,
Мелькание, гомон. На праздничном дне похорон
Мы слишком угрюмы, точней говоря, неподвижны.

Как будто душа отчеканена раз навсегда.
И жалко расстаться, и трудно представить свободу
И ту безотчетность, с какою петляет вода,
А лед, накалясь добела, превращается в воду.

Памяти В. Э.

И незачем гадать: Эдем или Шеол
Родным он называет краем.
Он больше не вернется, он ушел —
Единственное, что мы знаем.

Что в жизни перестроилось, какой
В ней наступил теперь порядок?
Другой, ты говоришь, другой.
Где виден этот отпечаток?

Но страшно чувствовать зависимость свою,
И трудно за себя ручаться.
Что если мы теперь небытию
Обязаны, — не рассчитаться.

И неужели, повторясь опять,
И после моего ухода,
Кого-то, но кого — не увидеть,
Обступит эта несвобода.

Полый звук преследует, полый звук.
Не оглядывайся, говорю, вокруг.
Он в крови у тебя, мой друг.

По нему узнают не только стиль
Твоего письма, но, скорее, быть
Дней, слежавшихся, как утиль.

И певучие вещи моей страны
Сколько помню, этим звуком больны.
Начинай отсчет от волны.

Это наше равенство и родство.
Это времени круглое торжество.
Содрогнуться есть от чего.

И случайно, что ли, в слове добро
Дважды вспыхнет зеро?
Это полый звук оставляет след,
Хищно рыщет перо.

Какая-то ясность, я помню, вошла мне в лицо.
Я бросился к зеркалу и от него отшатнулся.
А дальше — пустые подробности: двери, крыльцо,
Тугая щеколда калитки... и тут же проснулся.

Ослабились стрелки: я времени был возвращен,
Сознанию назван, и совести заново явлен.
О как безотказно сцепление сих шестерен,
И как беззастенчиво просится рифма раздавлен.

Течение времени — тонко сплетенная сеть
Причины и следствия, та кружевная накидка,
Которая рвется, когда предстоит умереть.
Другая нужна, и при жизни, другая попытка.

Она существует. С чего бы тогда эти сны?
Когда моментальная невероятная ясность
Сжигает лицо, вырывает тебя из вины,
И ты просыпаешься, и ощущаешь причастность.

О нет, не безумие, не безразличие, нет,
Иная природа — сравнение сразу неточно.
Другая попытка, которой сопутствует свет,
Что знали еще до рожденья, и знаем заочно.

Поэт обещал, что придет умирать в Ленинград, —
Умрет за границей. Не надо в стихах обещаний.
У жизни особый — он сам это знает — захват.
Любой это знает, имеющий дело с клещами.

Захват, что берет на излом, выгибает строку,
Теснее к судьбе прижимает. Она распрямится
С двойною отдачей тоски на другом берегу,
И все потому, что лишь к этому будет стремиться.

Сегодня с лихвою, на выбор, любому перу
Достаточно яви. Пророчества надобны дурам,
И то заблудившимся. Что раскричались «ау»?
Протяжное «у» отзывается в роще футурум.

Не зная дороги, ты в полную меру живешь,
И сбиться не можешь, поскольку маршрут преднамерен.
Снимай этот слепок с деревьев, мгновенную дрожь!
Ты полностью миру открыт, потому что растерян.

Третье апреля

Где меня не забудут, найдутся дома.
Где обмолвятся словом, припомнят.
И апрельского неба глубокий размах
Будет вами услышан и понят.
И не надо ни сердце свое надрывать,
Ни вымучивать чуткую память —
Будет вновь погибающий снег ноздреват,
И опять будет ворон горланить.
Так начнется для вас опрокинутый день:
Перевертыш тоски и веселья —
Каблуками по льду выбивать дребедень
Голубую,
 Затеять безделье,
И устроить застолье до самой ночи...
И — неважно — я был или не был,
Только б вы увидали, как ветка торчит:
Неожиданно, точно, нелепо.

ИЗ СБОРНИКА «ПУНКТИРНАЯ ЛИНИЯ»

*Издательство «Абель»
Санкт-Петербург, 1998*

I

Темноватый сполох

Имперские мотивы

«Когда народы, распри позабыв,
в единую семью соединятся...»

А. Пушкиевич

На глазах, на глазах раскололась...
То ли плох был чертеж?
Эти область, губерния, волость,
Как теперь называть вас?
Ложь вчерашняя ляжет на ложь
Дурнопахнущей свежей листовки.
Изнутри ничего не поймешь.
До свиданья, родные армянки мои и литовки.

До свиданья, таджики, туркмены,
До свиданья, казах.
Крах советской пою Ойкумены —
На моих развалилась глазах.

Нерадивых, прости нас, Ермолов,
Усмиривший воинственный край.
Лучше, мастер словесных размолв,
Рифмы в мельницу счастья ссыпай.
Что тебе до Империи, до расширения
Государственной плоти? Вари
Свой напиток. Имперской мигренью
Пусть другие страдают цари.

Белорусские, до свиданья, местечки,
До свиданья, стрелки-латыши.
Как же я разгляжу вас, косички-узбечки
В торжестве паранджи?

«Наше всё» поддержал вдохновенного ляха,
Заявляют вдвоем:

— Оглянись на эпитаф, боец Карабаха,
Под прицельным огнем.
Эх, в каком хороводе пятнадцать топталось
Разношерстных сестер.
И над тем, что еще от державы осталось,
Всадник руку простер.

До свидания, вишни цветущие Львова,
Прибалтийских кофеен уют.
До свидания, цинковый текст Михалкова,
При котором встают.

Это море знамен утомительно-красных,
Украшавших народов семью.
До свидания, Таллин, где четыре согласных.
Здравствуй, Таллинн с пятью!

Лестничные вопросы

Почему всегда после этих встреч
Тошнота окутывает меня?
Я унизил, что ли, родную речь,
Отчужденным юмором звеня?

В папиросе туго набит табак,
Растираемый «Беломор» хрустит.
Почему без пошлости я никак
Не могу прожить — донимает стыд.

Почему рассчитаться нельзя плевком
С вереницею отлетевших лет?
Человек рифмуется с поплавком.
Ничего хорошего в этом нет.

Валентину Румянцеву

Ты не узнал, чем закончился чемпионат
Мира. Такие вещи, как «шайба», «шведы»,
Там отсутствуют. Ты поднялся над
Потным смыслом слова «победы».
Даже ирония — твой лучший дар —
Тебе не нужна (ты бы заметил «бене»)
Это здесь ирония — скипидар,
Но какое найдется пятно у тени?
Это мы различаем шипы и шелк,
Запах воблы, морщась, или ванили.
Только в мире неравенств мы знаем толк.
Оператор котельной, тебя самого спалили
И вернули тождеству. Не говорите мне
С дрожью в голосе, чуть помешкав,
Что он был неудачником. Я читал «На дне»,
И с тех пор меня раздражает Пешков.
Число наших встреч составило, по моим,
В переводе на алкоголь, подсчетам,
Литров тридцать. Выпивка — псевдоним
Гения, сыгранного идиотом.
Все пустые бутылки памяти можно сдать:
Это подсобка души, ее кладовка.
Что с тобой теперь, перед кем предстать
Ты обязан, — выговорить неловко.
Потому что я вижу тебя живым,
Прислонившимся ко стволу рябины,
Улыбающимся, молодым...

Вот и настали сороковины.

У волн, у плакальщиц...
И снова повторю:
У плакальщиц, у волн. Не будет продолженья,
Достаточно. Я ночь благодарю
И озеро за долгое волнение.

У плакальщиц, у волн. Я все уже сказал.
Добавить, что еще поскрипывали сосны.
И нужен ли пейзаж, когда я смысл стесал?
Ищите в темноте — подробности несносны.

У плакальщиц, у волн. О, путаница-речь!
И вроде все равны перед тоской, и вроде
Нам общий трепет дан. Кого предостеречь,
Что вы меня опять неправильно поймете.

Превращение

«Если ненужное вычеркнуть, что остается, что?»
Новый Иван Ильич поражен вопросом,
Впервые пришедшим в лысеющее шапито.
К потусторонним он не привык угрозам.

Он потирает еще не ушибленный бок,
Рассеянно смотрит на брошенное вязанье
Жены. Осторожно сматывает клубок,
Входит в детскую, прислушивается к дыханью

Спящей дочери. Тик — раздается — так.
Это настенный тактик диктует стрелке
Свой нескончаемый и круговой диктант,
Подлежащий в двенадцать часов проверке.

Вот как это бывает: тихий обвал.
Люстра не дрогнула, не шевельнулись тюли.
Он вспоминает охотничье «наповал»
И с этой продолговатой мыслью о пуле

Он засыпает. И скоро друзья его,
Сослуживцы и некая крашенная вдовица
Будут пальцем крутить у виска: «того»,
А затем начнут сторониться.

И пока он спит, один из эфирных слуг
Предвкушает заранее радостное мгновенье,
Когда, ликуя, очертит победный круг
И, разворачиваясь, пойдет на снижение.

Признание

Потом я вспомнил, что тебя забыл.
Такое чувство было внове,
Как если бы сказал «панове»
Стоящий у метро дебил.
Отбойный молоток долбил
Поблизости, на радость детям.
Я вспомнил, что тебя забыл.
Задумавшись над фактом этим,
Уставясь на зернистый срез
Асфальтовых кусков, я понял,
Что очерствел, усох, исчез
Тот, за которым я шпионил:
Феномен с кличкой «душа»,
И что святое место — пусто.
Любитель пышек, беляша
Под оболочкой златоуста
Остался. И свое бубнил,
Выживая вдохновенье:
«Я вспомнил, что тебя забыл»,
В тень уходя стихотворенья.

* * *

Жизнь есть дробление Целого, крупорушка.
Мне предлагают фасованный Абсолют.
Где изделие, если повсюду стружка?
«Где же кружка?» — Михайловскому салют.

Я люблю играть с цитатою в прятки,
Словно эта забава может помочь
В идеальном осколки сложить порядке.
Ибо до совершенства ты охоч.

Дикие струи — снег за окном и ветер —
Строят спирали и выходят в пике.
То же самое и в черепной кювете,
В безблагодатном я опять тупике.

«Хватит истерики или смени пластинку» —
Очередное в тетради ставлю число.
Я к лингвистическому припаду суглинка,
Вопреки вышесказанному, назло.

Эта вибрирующая звуковая пленка —
Вот в какую ты почву укоренен.
Слой озоновый, ну а там, где тонко...
Вечно рвущийся, не исчезает он!

Хорошо в иероглиф зайти
И закрыться сквозным
Смыслом, ветром Пути,
Разгоняющим дым.

Кто из времени — выскользнул — западни,
Из чешуйчатой цепкости слов,
Тот в тени юродства проводит дни.
И когда садится, багров,

Шар за тучу, он растирает тушь,
Совершенный скрюченный муж.

М. Е.

Все расставания зависят не от нас.
Мне кажется, что их предусмотрели
Заранее. И в самом деле,
Чей мы исполнили приказ?

Все расставания слились в одну
Трепещущую нить повиненья.
Зачем выискивать вину
Себе и препираться с тенью.

Все расставания... Слящиеся сны.
И лишь в конце увидишь анфилады,
Как были справедливы и верны
Все расставания, все имена и даты.

Сорок минут дождя

Дождливым днем, дождливым днем, дождливым днем
Мне бормотать подробнее и чаще
Хотелось бы, чем дождик за окном,
Струющийся завесою звучащей.

Не допустить, не допустить, не допустить
Ни сбоя, ни заминки, ни разрыва —
Ведь шум сплошной и звуковая нить
Нервущаяся делают счастливым.

Переводя, переводя, переводя
Натруженное на тройных повторах
Дыхание, заметим, что дождя
На редкое мелькание, на шорох

Едва осталось. Можно прекращать
Сумбурную и странную беседу,
Которой продолжение опять
Последует, последует, по следу...

* * *

Однажды проснуться на даче, веранде чужой,
С трудом разобрав, что находишься в Новых Ижорах.
Вчерашний поступок, он как-нибудь связан с душой?
Не знаю, не знаю, не думаю, слушаю шорох.

Смотрю, как сливаются наши дыханья в одно.
Оно исчезает, промаявшись облачком белым.
Веранда не топтана. Впрочем, не все ли равно,
Что дров не хватило, когда согреваются телом.

Не все ли равно — если ворон так долго кричит —
Какое сегодня число, или кто с тобой рядом.
Позднее, позднее душа тебя вновь уличит,
Как будто заказано жить с постоянным надсадом.

Пока мы лежим, натянув к подбородку пальто,
И ворон кричит, как судьбой надрывается черствой,
Ты сам удивишься: душа, несмотря ни на что,
Живой остается. Какое, однако, упорство.

Дикий вечер

Нет на городе креста,
Только полумесяц белый
Есть над городом. Звезда
Есть над городом. И хватит
Нашей жизни неумелой
Сострадания, пока
Полумесяц и звезда
Свет на этот город тратят.

Да еще на пустырях
Ветер вперемешку с прахом.
Посмотрите-ка на птах:
Можно жить и вертопрахом,
Не загадывать судьбу,
Дымом вылететь в трубу.

По-над Лахтой пролететь.
Вряд ли я хочу быть понят —
Над странюю круговерть,
Воротник сегодня поднят.
Надо мною облака
Как четыре кулака.

* * *

Один из ясных осенних дней,
Которыми так дорожит Валера.
Воздух, воздух сада камней,
А лица встречаемых — брак медальера.

Левый, правый, неважно какой,
Любой переулок достоин взгляда.
Свобода, свернутая в покой, —
Вот как вывернута цитата.

Скоро, скоро подернется пруд
Коркой — хрупкой, звонкой, молочной.
Ввинчивающийся, молниеносный труд
Припоминания, вздох надстрочный.

День, как тонущий островок.
Созерцающий — это спящий.
Как он укутан (как одинок)
В шелк отшельничества скользящий.

Опоздав на работу, погуляем в осеннем саду.
Если эта прогулка и написана нам на роду,
То она создана для хорошей погоды.
В расписаньи свободы
Заполняем графу.

Горьковатая праздность и беспечно кружащийся лист —
Параллельные тексты, один из которых петлист
И подвержен паденью, другой — заторможен.
Мы, конечно, не можем
Невесомо идти.

Золоченое слово разгрызая, найдем красоту
В этих чахлах рябинах, заросшем травой пруду.
Это старое средство выдыхается день ото дня.
Постоим у огня
И согреем ладони.

Разжигают костер и швыряют фанерную дрянь.
Если б кто подошел, посоветовал: «Духом воспрянь.
Как прекрасно и жутко огнем этажерка объята.
Это было когда-то
У тебя, не забудь».

Расплывается дерево — так этот воздух нагрет.
Если б кто подошел и открыл сокровенный секрет
Той осмысленной жизни, где хватает добра и любви.
Позови, позови —
Никого не дождешься.

Впрочем, это неплохо. И надо тянуть самому
Эту жесткую ляжку, доверяя не столько уму,
Сколько чудным промывам повседневного зренья.
Что само по себе — хорошо, но совсем не спасенье.

Уроки физкультуры

«На чем, на чем еще сегодня упражненья?»
Прыжки через коня, подтягивают мат.
О, физкультурный зал, снаряды униженья:
И брусья, и бревно, и кольца, и канат.

Я помню, как сейчас, насмешливые взгляды,
А сердобольный кто-то будет ободрять.
Гимнастика, душа и мускулы Эллады,
Как можно человека столько оскорблять.

И значит не тоска, не школьная влюбленность
Сжимали сердце мне, готовя для стихов.
Но физкультурный зал, но эта ущемленность,
И к обороне был я без значка готов.

Как собственное нас уродует презренья!
Достоинство — вот что искали между строк.
Чтоб плечи распрямил пример стихотворенья,
Наглядный и живой гармонии урок.

Все это уводило в речевую область,
Где вещи сообщен первоначальный блеск
Звучания, и где сверкало слово «доблесть»,
Хотя в быту и обходились без.

Сентиментальное настроение

Пирожковая, где распивают портвейн,
Где бутылки вина распирают портфель,
Где студенты зачет обмывают,
 Это с нами бывает, бывает.

Узнаёшь понемногу знакомую прыть
В этом дурне, который тебя повторить,
Сам того не желая, стремится,
 И стихи он читает, и злится.

Как прекрасно читает, как нараспев!
Суматошное братство — студенческий блеф,
Вроде слушает, вроде кивает,
 И в стаканы ему наливает.

Он сегодня напьется, и всё — нипочем.
Он талантлив, другими он так наречен,
Он талантлив, чего еще больше,
 Этот славный и ласковый мойше.

До чего он доволен, приятно смотреть.
Это первые траты и первая треть.
Это первые пробы забвенья
 В подвернувшейся первой кофейне.

Пожелай ему счастья, бог знает когда
Еще свидеться. Он приплетется сюда
Недоверчивым, трезвым, угрюмым.
 И купи ему булку с изюмом.

Бедные рифмы

Надо прокормить семью,
Концы с концами свести.
Надо еще свою
Душу спасти.

Надо работать на двух
Работах, на трех.
Ну что, доходяга-дух,
Как тебе этот вздох?

Надо войти в судьбу,
Как входит в рощу лесник.
А складка забот на лбу,
Уродующая твой лик —

Есть комментарий к строке,
Той, где «в поте лица».
Кем придумана, кем
Нежная жизни пыльца?

Как подкошенный сноп,
Валишься на кровать.
Разговорился. Стоп.
Завтра рано вставать.

Стихи из почтового ящика

«Государь мой! куда вы бежите?»
— «В канцелярию; что за вопрос?..»

Н. А. Некрасов

I

Человек семенит
Глянцевито-угодлив.
И не надо ему аонид.
Почему он уродлив?

Почему он забыл,
Что смертельной преследуем тенью?
Объясните мне пыл
Крючкотворства, служебного рвенья.

Докажите зрачку,
Что неправильно видит.
Чем проветрить мне эту строку,
Подберите эпитет.

Уходи из стиха, —
Роговица брезгливостью блещет.
А должна быть суха,
Ибо точности требуют вещи.

Пропадай, аноним
С целлулоидной щечкой.
Под пером расплываясь моим
Долгожданною точкой.

II

Слипаются глаза, как в чеховском рассказе
«Спать хочется», слипаются на фразе
Начальника, — приспичило заразе

О планах производства доложить.
Кого бы нам сегодня задушить?

Или нарочно снег такой сегодня сонный?
Слипаются глаза от пряжи законной.
И человек вдали, но пеший или конный...
С депешей закордонною ко мне.
О, как легко рифмуется во сне.

Как прихотливо и капризно вьется
Судьба. Как безответственно живется.
Огнем горите, планы производства! —
Меня толкают незаметно в бок,
И человек пропал, и конь убёг.

Еще бы... Им не вынести собрания,
Зевания, кряхтения, морганья,
Тяжелого жгута недосыпанья,
От коего шершавится крупа
В глазах, они слипаются, слипа...

III

В. Лифсону

Одиночество проветривает мысли.
В этот городок желто-зеленый
Я на две недели вроде выслан
Государством, как бы заключенный.
Но одновременно и создатель
Нужного кому-то протокола.
А на самом деле — наблюдатель,
Как в деревьях ветрено и голо.
Я привык, что я опять раздвоен
И в стакане у меня налито.
Пионерка, дискобол и воин,
Может быть, они из монолита.

Холодок брусничной лихорадки
Городок трясет по воскресеньям.
Видимо, смешны мои нападки —
Хорошо существовать тут семьям.
В городке, где никого не знаю,
Некуда зайти, разговориться.
Благо, что молчание — вторая,
Внутренняя речь. А притулиться
Можно на скамейке, замечая,
Как пером раскинулось павлиным
Облако закатное, мешая
Удлиненным, перелетным клиньям.

Неправильный сонет

Он смотрит оттуда, он смотрит оттуда сюда.
И тот, кто почувствовал силу отвесного взгляда,
Скорее всего не откликнется радостным «да» —
Закроется робким «не надо».

Ему-то виднее, как здесь прибывает беда,
Прикинувшись землетрясением или торнадо.
На холмах каких прогремит канонада,
Столкнутся когда поезда.

Составленный график движения так изощрен,
Что все пассажиры встречаются в пункте Омега.
Какой-то мне белый сегодня приснился перрон
От майского тополя или пушистого снега.

И странная стрелка на круглых вокзальных часах
Дрожала, как это бывает на точных весах.

II

Янтарная комната

Письма в Вильнюс

(из цикла)

Посвящается Марии К.

I

Из окна электрички смотреть,
Как дома начинают стареть,
И крошится кирпичная кладка,
И торопится медь зеленеть.
«Что-то в жизни неладно», —
Не промолвить успеть.

Или так: закрывая глаза,
Загадать — оказаться бы за...
Перелистывай глянцевого атлас.
Вообще никуда не попасть,
С полудремой ребенка совпасть,
Драгоценный ронья адрес.

О котором как вспомню, слегка
Начинает знобить, и строка
Веселеет. Литовские шпигели
На бумаге выводит рука,
И слова, что себя перевили:
Дорога, далека, облака...

II

Не судьба, а какой-то языческий бог
Нашептал, на тебя эту встречу навлек.
Словно нитку вдевая в иглу,
Свел двоих на углу.
Это он, покровитель литовских чащоб,
Начудил, ибо чем развлекаться еще,
Как не зрелищем встреч и разлук?
О, истоптанный круг!
И когда я тебя вспоминаю, когда
О тебе сновидений слепая вода
Заливает меня наяву —
Вот когда я живу.
Вопреки расстоянию, благодаря
Произволу. И дабы лесного царя
Хоть немного задобрить — не ставлю свечу,
Но беру авторучку и «ачу»¹ шепчу.

III

В том параллельном мире мы с тобой
На острове живем. Шумит прибой,
И вечерами номер танцевальный
Туземцы исполняют при луне,
Которой поклоняются оне:
Чуть-чуть зеленоватой и овальной.

В том параллельном мире ни на миг
Не расстаемся. Где-то — материк.
Но океан на тростниковой лодке

¹ «Ачу» — спасибо (*лит.*).

Не пересечь. И местный магеллан
Унынием нередко обуян:
На острове ему — как в околке.

В том параллельном мире нет вождя,
А был бы — за отсутствием гвоздя
Портрета не прибить. Авторитетом
(И безусловным) пользуется тот,
Кто выдумает лучший анекдот.
Каннибализм, однако, под запретом.

Ты говоришь однажды: «Дорогой,
А если существует мир иной,
Где нам с тобой навязана разлука.
Там Петербург и Вильнюс города».
Ну что ты — отвечаю — ерунда,
Да и возможна ли такая мука.

IV

Подъезжая к Вильнюсу, видишь холмы,
Радуетесь: наконец-то «мы»
Обрастает смыслом. Оконная шторка
Пружинит, не распахнуть никак,
Топорщит, как под ремнем гимнастерка,
Пальцы выделывают краковяк.

Подъезжая к Вильнюсу, вспоминаешь дату
Последней встречи. Суверенитет —
Это граница, таможня, солдаты,
То, без чего государства нет.
То, что тебя отрезало от меня,
Это тема евгения и коня.

Прямо у перрона взрывается мина
С часовым механизмом. Я не сказал
Самого главного. Котловина —
Место, где раньше стоял вокзал.
И все сметающая лавина
Понимания: я — опоздал.

Падай снова в жаркий, сыпучий
Сон, восстанавливай по частям
Прошное. Начиная с угла
Невского. Это был не случай —
Стержень чуда предельно прям,
Как прославленная игла.

V

Я пил водку и читал, обнимая тебя, стихи.
Счастье, как и солнце, стояло в зените.
Были прекрасны каштаны, голуби, старики
И хотелось сказать «извините» —

Так незаслуженно в руки блаженство шло.
День трепетал, словно бабочка у запястья.
И если проставить имя, адрес, число,
То это и будет, я повторяюсь, счастье.

Я повторяюсь, поскольку слово «опять»,
Этот подшипник Вечного Возвращения,
Требует обязательной рифмы «вспять».
Беличья клетка — античное украшение.

Память — янтарная комната, закуток,
Где лежат сокровища, вперемежку
С барахлом и ветошью, дай глоток
Дня литовского, погаси усмешку,

Искривившую мои мысли, зрение, рот.
Прямота и распахнутость — эти крылья
Поднимали меня, отрывали от
Существованья, подернутого пылью

Оцепенения. Как хорошо, что мы
Узнаем о том, что же с нами было
Много лет спустя, посреди зимы,
Вспоминая, как солнце глаза слепило.

Апрель

На скамейке, в Летнем саду
Признавался тебе, в году...
Цифру в памяти не найду.

Как письмо, открывал секрет,
Смехотворней какого нет.
Помню скомканный твой берет.

А еще оркестр духовой
Бесновался над головой,
Почему-то пахло халвой.

Возле статуи «Ночи», тут
Я работал свой изумруд.
Эти липы еще растут.

В заколоченной будке бог.
Неужели он так продрог?
Горьковатый вьется дымок.

На просушку закрытый сад,
На тебя устремляя взгляд,
Поворачиваю назад

Рукоятку годов, штурвал.
Если что от жизни урвал —
Это прошлое, матерьял,

Из которого шьют, моля,
Чтоб ложилась к петле петля,
Платье голого короля.

Похороны

Памяти Н. С.

Все продрогли, продрогли под проливным,
Наблюдая, какой нелегкий калым

У могильщиков. Сколько надо песка
Натаскать. И слово взяла тоска.

Все стояли молча. Рыдала мать.
Лишь Тому позволено отнимать,

Кто однажды великодушно дал.
«Я подругу свою в гробу видал», —

Отличиться хотел записной шутник,
Но опомнился и прикусил язык.

А потом, за общим уже столом,
Поминальным, я подумал о том,

Что не в губы, а в лоб целовать пришлось...
Но подумал как-то нехотя, вскользь.

* * *

Жухлый листварь ноября.
Ртутная дурь
Под эллипсом фонаря,
Брови не хмурь.

Голых дерев верхи —
Раскачивающийся намек
На то, что пух чепухи
Отлетел, и теперь далек.

Жизнь, как всегда, щедра:
Пройдены все пласты,
Добралась до ядра.
Здравствуй, вкус пустоты.

Звездный наклон Ковша.
Кого бы еще привлечь?
Горечь тем хороша,
Что сохраняет речь.

Сучья дико торчат,
Голосят по птенцу.
Обернувшись назад,
Удивишься рубцу.

В. Гандельсману

После каждого твоего звонка
Что-то начинается у виска.
Это дальняя родственница фрезы
Выбирает причудливые пазы
В памяти, связанные с тобой:
Ну конечно, рюмочную на Моховой —
Убежище (благословенны его дары)
От прямых попаданий холода и хандры;
Кочегарку, астматический шум котла,
Антрацит, готовый сгореть дотла,
И тончайшую угольную пыльцу,
Что всегда гераклиту была к лицу;
И пустую Шпалерную в выходной,
Где, опутанные тоской одной,
Той паутиной советских дней,
Мы бродили. А Смольный еще синей
Утверждался в небе часам к пяти,
Как возможный ориентир пути.

Все это вспыхивает в мозгу,
Как свеча бенгальская в темноте,
Так отчетливо, что назвать могу
Подворотни и переулки те.

А затем искрящееся копьё
Выдыхается, становясь седым.
Принимается радостно за свое,
Горьковатое, откровенный дым.

А. Дубровской

Эти одиннадцать лет изменили меня
В худшую сторону, сторону черного дня,

Сторону вялой души и ленивого взгляда —
Ласточек, лепящих первые гнезда распада.

Я не сгущаю, но просто фиксирую факт:
Комендатура, отдел регистрации, жакт.

Где треугольная, чертова эта печать!
Лучше тебя ни одна не умеет молчать.

Жаркую встречную речь, звуковое дутье
Я бы сейчас променял на молчанье твое.

Ибо оно растворяет любые слова —
Это буддийская, что ли, звенит тетива

И разрывает признания тесную сеть.
Лучше тебя ни одна не умеет смотреть

В дальнюю точку безумно бегущей тропы
Непредсказуемой, в дальнюю точку судьбы.

* * *

Желтый двор проходной,
К Моховой выводящий,
К подворотне одной,
Поневоле хранящей
Разговор узловой
И сегодня — саднящий.

В каталог не попал
Этот двор безымянный,
Городской маргинал
Без таблички охранной.
Ты запомнил скандал,
Так сказать, многогранный.

Больше ты «Наливай!»
Не услышишь, бедняга.
Жизнь свою продлевай
На бумаге. Бумага —
Удивительный край,
Но горючий, однако.

Разошлись на слова
Кирпичи, штукатурка,
И газона трава,
И облезлая мурка.
И теперь голова
Не болит у придурка.

Он и сам не поймет,
Что его волновало:
Заурядный пролет,
Вырождение овала.
Вот и мимо пройдет,
Как ни в чем не бывало.

В. Черешне

Этот снег, как человечьи жизни,
Под косою опекой фонаря.
Кривизна всегда есть в укоризне.
Как бы жить за все благодаря?

Знаю, ты расскажешь про хрусталик
Просветленный, выпрямленный взгляд.
Всё качается ленивый ялик,
Не плывет, куда ему велят.

Но возможно разве опозданье
Там, где прорастанье суждено?
Всхожести, как тайне мирозданья,
Молча доверяется зерно.

Дневник юноши

«И зачем только пил это пиво —
Нестерпимо хотелось в клозет.
Снисходительно как и спесиво
Отозвался об Игреке Зет.

Но они-то — бездарные оба
По сравнению с Иксом. Когда
Он читал, завитушки озноба
На загровке курчавились, да...

— Мне понравилась ваша подборка.
(Потрепал бы еще по плечу!)
— Я советую вам Сведенборга...
Интересно, чего я хочу:

Напечататься в толстом журнале,
Чтоб у Игрека вырвалось “ах!”,
А затем оказаться на Гале?
Я оставил кашне впопыхах

В ресторане. Держал бы в портфеле.
Провожать загорелось актрис!
Ну, а что же на самом-то деле
О стихах моих думает Икс...»

Карповские бани

В гардеробе висели «охотники на привале»,
Очередь расплзалась часа на четыре.
Женщины эмалированные тазы прижимали
К животам, и становились шире.

Рыжие, русалочьи хвосты мочалок,
Анекдоты полупохабные про Арона.
А ведь это только змеящееся начало
Несостоявшегося замысла фараона.

Время желеобразно. Период спячки
И господства ВКП(б) истории краткой.
Лохматые, мятые «севера» пачки,
А рядом — кремлевской аристократкой

Торчит коробка «герцеговины».
Сказка тысячи и одной ночи
Опускается на горы, поля, равнины,
Шехерезада заглядывает в очи

И протягивает всем одну тянучку.
О, желающих вымыться миллионы!
Мальчика держит отец за ручку,
На обшлагах золотые горят шевроны.

Кителя, пиджаки, гимнастерки, робы,
Как и прочие противоречья, сняты.
Равенство самой высокой пробы
В стенах карповского сената:

Равенство абсолютно голых.
Вот они, дети пунцового рая
Плещут на раскаленный молох
Воду, жар еще поддавая.

III

Облако наплывает

Имена

дюймовочка бухарин ппж
антуаннета скрипка статуэтка
роман жан-поля сартра атташе
отдушина кофирка и каретка

комедия княгиня адюльтер
хамовники раскольников берданка
торпедоносец лампочка вольтер
народоволец дублинцы и данко

корона территория шалаш
малахов барахолка терешкова
шизофрения выставка гуляш
трибуна пантомима и подкова

медуза оцеола айгешат
спекторский траектория подруга
лузановка чапыгин айзенштат
сцепление и квадратура круга

диаспора колонна календарь
истерика проекция истома
онегин полоскание вратарь
нужник аккомодация плерома

Сумерки в декабре. Возвращенье с работы.
Новый через две недели год.
Раздувается, раздувается зуб заботы —
Никаких поблажек тебе и льгот.

По телефонному кабелю сообщают то же,
И в Нью-Йорке друзья хандрят.
Все же, на что эта жизнь похожа?
— На чудовищный боль-маскарад.

Как любое другое, данное колченого
Сравнение, особенно в год Быка.
Метафора — греческая берлога,
Логос, ударившийся в бега.

«Не сравнивай» прошептал нам ссыльный,
Завороженный воронежской белизной.
Помимо лицевой стороны и тыльной
Существованье еще одной —

Акустической, помещенной между
Жесткими дисками бытия,
Необъяснимо вселяет надежду
На то, что ошибаюсь я.

Тусклое солнце. Серый спиральный дым.
Что я сегодня хотел бы назвать родным:

Двух детей, сидящих за партой, и
То ли профессора, то ли сторожа, чьи

Письма я получаю из-за «бугра».
Пепельный день печальнее, чем вчера.

Пряжу элегии как-то неловко прясть.
Тусклое солнце. Пьяный хочет упасть,

Но выбирает: на бок или плашмя.
Горло воспроизводит «помилуй мя».

Самый честный, если вслушаться, звук.
Чем отличается от души бамбук?

— Многим. И все же общая их черта,
Согласитесь, — сухость и пустота.

Тусклое солнце. Резкий морозный скрип.
Профиль сугроба напоминает гриб.

Черная кошка по судорожной кривой
Пересекает проезжую часть и твой

Очередной перемен перспективный план.
В параличе собака и караван.

Не поперхнись на морозе этим смешком.
Скифским карнизы украшены гребешком.

И ледяная прицельно висит игла.
Тусклое солнце. Дорога белым-бела.

Случайный взгляд

Женщина затягивается сигаретой,
И лицо ее становится глуповато-значительным,
Как на лекции о творчестве Мамардашвили.
Жалость, охватывающая меня,
Несколько подозрительного свойства:
Уж не жалость ли это к себе —
Чувство эстетически недопустимое.
Почему я так остро запомнил ее?
Откуда эти внезапные, спазматические
Импульсы любви к жизни?
Или это просто повод для верлибра?
Верлибр, прокладка для сырого
Лирического излияния. (Верлиберо —
Лучший друг алкашей.)
Смотри, смотри на нее!
Эта магниевая вспышка мгновенна и самодостаточна.
А проявление пристальности —
Увлекательный, но все-таки процесс.
Бинокль или оптический прицел,
У Того, Кто наверху, всегда наведен на резкость,
А глаза слезятся почему-то у объекта наблюдения.
Такова занимательная оптика:
Мы обидчиво требуем взаимности,
Не замечая, что уже от рождения, — желанны.

Хлопнуть дверью, захлопнуть книгу, билет вернуть.
Монолитное «нет» разбегается, словно ртуть,

На мелкие шарики возражений. Что ж,
Основное чувство живущего — это дрожь.

Что доказывал некогда сумрачный Родион.
Если бы в дворницкой пылился аккордеон,

То и Порфирий Петрович мог бы спокойно спать,
И процентщица. Когда отсутствует гать,

Трясина идеи затягивает с головой
Путника. И меняется социальный строй.

Это раньше протесты рассылались по адресам.
А теперь адресат отрицания, как ни странно, — сам

Отправитель. И поскольку никто не свят,
Вес такой бандероли опять не взят.

Из пустого в порожнее не надоедает лить.
Я к тому веду, что следует умалить

Себя окончательно, до величины,
Когда становятся непоправимо черны

Твои лучшие, белоснежные помыслы и дела.
И раскаяния дотрагивается игла.

«Жаловаться нельзя, нельзя —
Мандельштам не велит», —
Стихотворец, скользя
По мостовой, бубнит.

Он вспоминает вдруг
Летнего мотылька,
Выпорхнувшего из рук,
Прихлопнутого слегка.

Лучше не знать, не знать,
Кто тебя уберег,
Кто разрешил летать
И отодвинул срок.

«Посыпали б хоть песком», —
Ишь, чего захотел.
Подумаешь, в горле ком,
Хорошо, что не «л».

Он

Несчастья выветривают его.
Он разрушается, как овраг.
А жизни горючее вещество,
Радости и любви арак —

Это враки всё, болтовня,
Баловство и дурная блажь
(так улыбается головня).
И какой же нужен бандаж,

Обруч, чтобы стянуть, собрать
Рассыпающиеся черты.
Как беспомощна эта прядь,
И глаза бесстрашно пусты.

Отражается в них не боль,
Не страдания перепев —
Жизнь, подстриженная «под ноль»,
Дефективный ее рельеф.

И когда он сидит, шурша
Перелистывает блокнот,
Что задумывает душа
Он и сам еще не поймёт.

Облако наплывает, холодом обдает,
Небо напоминает, голос перестает.

Я ледяную ноту не подберу никак.
Вызывает зевоту декоративный мрак.

Облако треуголкой треплется в синеве.
Человек не иголка, но потерян в себе.

Это депешей срочной уведомляют нас:
Расписание — точно, но неизвестен час.

* * *

Жизнь в кафе просидеть,
Глядя на перекресток —
Так мечтает подросток,
Прежде чем поседеть.

Желтый узкий бокал.
Тихо пенится пиво.
По-французски красиво
(Боже, как я устал).

Это Хемингуэй,
Эренбург и Ротонда.
Из золотого фонда
Шестидесятых. Чей

Профиль тогда пленял?
Вроде, еще Гийома...
Как это все знакомо,
Словно школьный пенал.

Жизнь просидеть в кафе
Этаким вертопрахом,
Незнакомым со страхом,
Быть чуть-чуть под шофе.

Жизнь просидеть в кафе,
Может быть, это чище,
Чем рубить городище
В очередной строфе.

Стать господином N.,
Зажигателем спички.
Имя чье и привычки
Знает один бармен.

Строка

И в мареве томится звуковым,
Вернее бы сказать, таится,
И полусуществует, как фантом,
Строптивую дразня страницу.

Напрягшийся она щекочет слух,
Нечетким очертаньем мучит
Зрачков нетерпеливых двух
Внимание. Смиренью учит,

Изнеможенью. Заколдован круг:
Теряясь, возникает снова.
Произошло. И стало ясно вдруг,
Что варианта нет иного.

Дерево в феврале ожидает весну.
И смотрит пристально, как Толстой:
Вот человек волочит вину
На поводке за собой.

Маловероятно, что завтра в сквер
Придет с отточенным топором
Лесоруб. Произнеся «трансфер»,
Человек представляет себе паром.

Навряд ли дерево обладает таким
Богатым воображеньем. Оно
Не прислушивается к своим годовым
Кольцам. Знаменитое «всё равно»

Циничных или трагических нот
Лишено, когда отсутствует цель.
Дерево не попадет в цейтнот,
Потому что за мартом идет апрель.

Корневая система не знает что
Такое — нервной системы срыв.
Вьюжит. Он кутается в пальто.
Человек несчастен, и значит — жив.

Пришивая пуговицу к пиджаку,
Прихорашивает Вселенную приживал.
В барском доме времени, закутку,
Отведенному среди прочих зал, —

Благодарен. Теория малых дел
Поверяется практикой, как и встарь.
Прирастаньем гармонии овладел —
Можешь называть себя государь,

Обустройствающий империю в черепной
Коробке. На большее нету сил.
Наблюдающий пристально как грибной
Дождик тихо так моросил.

Так надежнее затягивай узелок,
Отвоевывай у распада пядь
Территории, чтоб никто не мог
Сонным тебя врасплох застать!

Пришивая пуговицу, забудь,
Что истлеет нитка когда-нибудь.

Бесшумно падает снежный ком,
И крутится пыль волчком,
Стоишь, не думаешь ни о ком,
Свободой пустой влеком,

Жизнь отступила всего на шаг —
Одна из ее забав.
А затем затянет кушак,
Как бы с тоской совпав.

Чем печальнее наша явь,
Тем слаще лесной столбняк.
Осторожно ветку расправь,
Чтобы не висла так.

Благодарный запомню взмах,
Кривую серьгу луны.
Утопающее в снегах
Зеркало тишины.

«Солженицын в свободной продаже, а главный чекист
Демонтирован». Пауза, равная фразе.

«Жалко, Витя не дожил, замечательный был очеркист,
Так и спился в отказе».

Почему-то не клеится нынче беседа у дам
Между сводкой последних известий и шведскою водкой.
Раньше пили «Агдам» —
Это там, где стреляют прямою наводкой.

Ничего мы не знаем о Тридцатилетней войне.
Чем набито истории хрестоматийное сито?
Полководцы, герои, сражения, даты, а не
Кровь и слезы — легко протекло и забыто.

Что отцежено будет, в подстрочном каком
Комментарии набрано скучным петитом
Про кавказский погром,
А скорее всего, что пожрется с большим аппетитом,

Как заметил Державин, куда-то туда уходя,
Где ни свежих газет, ни болей под лопаткой.
Городская квартира на фоне ночного дождя
(Мы всегда накануне живем) с непременною лампадкой.

Памяти Хармса

Ля-ля-ля — это пляска над смыслом,
Над заботой о завтрашнем дне,
Это вдруг пересохшая Висла
И Параша верхом на коне.

Быр-быр-быр — вырождение бора,
Афоризмы от двух до пяти.
Это выбор того разговора,
Твоего приговора, прости.

Это честность разорванной речи,
Искаленной, слов на корню
Истребление. Как ты далече
От меня, несравненная Хню!

Фырк да мырк — это ясность на фоне
Государства и радостный шаг
В направлении странной гармонии.
Называть Ювачёва «чудак»,

Говорю, — не имеете права.
Разве есть у филолога стыд?
И посмертная липкая слава...
Но по-прежнему всех нас тошнит!

«Воспеть» рифмуется с «успеть»,
«Оторопеть», да с чем угодно.
Закурим, Петь.
На этой лавочке вольготно.

Воспеть как провода блестят
Троллейбусные на закате.
Голодный взгляд.
Подайте, слова ради.

Воспеть — расставить зеркала.
Воспоминая, сновиденью.
Привет, стрела
Прицельного преображенья.

Воспеть — воспитывать шаги,
Ведущие тебя за штору.
Отдать долги
Неведомому кредитору.

РЕЛЬЕФ

*Издательство Еврейского общинного центра
Санкт-Петербург, 2004*

РАСПЕВКА

*Бульк-бульк-бульк.
Песенка алкаша.
Песенка хороша,
Да не наша. Свое
Отпили. Острие
Мягче карандаша.*

*Трах-трах-трах.
Песня ночных рубах.
Погреб, Ауэрбах.
Придурковат намек,
И договор подмок.
Ах, Маргарита, ах.*

*Дон-дон-дон.
Вялотекущий Дон.
Всем говорю «пардон».
Пародонтоз меня
Замучил. Это — фигня.
Песня Армагеддон.*

*Тик-тик-тик.
Времени нервный тик.
Так говорит старик
По имени Когелет.
Песня прямых улик,
Наводящих на след.*

*Что-что-что.
Песня есть решето,
Крупная ячея.
Трижды чавкнуло «я».
Звуковая змея
Выигрывает в лото.*

Игра теней

Из стихов 70—80-х годов

Природа пастуха, которая моей
Предшествовала в дни Лавана и Рахили,
Которую сыны Израиля творили
В объятиях и, угождая силе,
Их жены становились тяжелей.
Исток единобожия, ручей,
Доселе не утративший текучесть,
Что и тогда предполагала участь
Рассеянья и странную живучесть:
Начало, приводящее к ничьей,
К сегодняшнему дню, где я — ничей.
Природа пастуха, где солнце и луна —
Ориентир судьбы и замысел небесный,
Где человек испуган внешней бездной,
Поскольку для него душа темна
И кажется нам недостойно тесной.
Но это теснота, вместительная столь,
Что замысел о Боге будет впору
Его душе, взыскующей простора
И подтверждения себе самой.
Забота о душе и ревностный завет,
Что некогда вдохнул месопотамский странник,
Его стопы направили на след
Служения. И стал народ — Избранник.

На демонстрации

Те времена. Рассыпчатый восторг
От леденцов, цыганок, «раскидаев».
Мой дядюшка по матери, парторг,
Тогда кончалось вечное с Китаем
Содружество, на улицу волок
Племянника и покупал флажок.
Ботинки тупорылы и блестят,
И пиджачок по-праздничному тесен,
И глиняные петушки свистят,
И в воздухе такая сшибка песен,
Что на берег, где мается Ермак,
Врывается с Катюшей Железняк.
У выхода на Кировский — затор.
Растянутая пьяная ухмылка
Гармошки, неумелый перебор.
Подпрыгивая, катится бутылка,
Пощечины «тарелок», детский рев
И звон в ушах от лопнувших шаров!
А вот и площадь. Вышина столпа.
И кроме одной — ничего не видно.
В те годы категория «толпа»
Обозначала только то, что слитно.
В те годы шестилетний индивид
Еще не знал общественных обид.
Но самое желанное — ура!
«Ура орденосным коллективам!»
Какая лупоглазая пора:
Кричать до хрипоты и быть счастливым.
И лучшая, быть может, добродетель —
Неведенье. Я сам тому свидетель.
Издержки торжества невелики:
Захламленные улицы, набойки
Придется набивать на башмаки,
Да очередь в уборную на Мойке.

И грузовик везет политбюро,
Поставленное прямо на ребро.
А в небе — ускользящий залог,
Что через год все это повторится:
Решительно летящий поперек,
Куда он безалаберно стремится,
Воздушный шар играет позолотой,
Влекомый водородом и свободой.

Стихи на заданную тему

Посвящается Н. Р.

1. Приготовление к прощанию

Я буду знать, что ты теперь живешь...
Я посмотрю на карту и увижу,
Где именно: вот розовое сплошь
Отечество, сиреневые галлы,
Америка одета в куртку беж.
Насколько это дальше или ближе
От Ленинграда, в сущности, неважно,
Но важно, что на плоскости бумажной
Пунктиром обозначили рубеж.

Еще я буду знать, что навсегда
Мы расстанемся. Никакого шифра
К такому слову я не подберу.
Что значит навсегда — на все года?
Но если так, то это просто цифра,
Которая сверкнет, когда умру.
Ты будешь для меня завершена,
Как всё, что исчезает безвозвратно.
Поэтому нам прошлое понятно,
В нем нету становленья — тишина.
Скорее странно, нежели досадно,
Что ты по-настоящему видна
Лишь в прошлом. Но зачем я говорю,
Зачем я тороплю приготовленья,
Навязывая март календарю
И понапрасну напрягая зренья,
Пока ты здесь, пока твои черты
Еще не стали стихотворной тенью.
Наверное, затем, что в те часы,
Часы, когда откроется разлука,

Не будет для меня иного звука,
Кроме того — со взлетной полосы,
Которому нельзя наперерез,
А только разрешается вдогонку.
А для тебя — сквозь облачную пленку
Увидеть уменьшающийся лес.

2. Постфактум

Весь день шел снег и выбился из сил
К полуночи. Он что-то заносил.
Какая изворотливость глагола:
Он заносил на память этот дом,
В котором суматоха и разгром
Сегодня, а завтра будет голо.

Весь день летели белые тельца,
Осколки Соломонова кольца,
Что слишком широко для утешенья.
Конкретность обязательно узка,
Ей точно соответствует тоска
И выбранный размер стихотворенья.

Весь день шел снег, пока не изнемог.
Бог из машины или просто Бог
Все опускали занавес бесплотный.
Вот «Горе от ума» наоборот:
Пока не поздно, Софья в самолет
Садится и становится свободной.

Когда снег выпал — занавес упал,
И прояснились небо и финал, —
То месяц освещал пустую сцену.
Окончен день и прозвенел пятак.
Теперь — копить разлуку, только так
Мы настоящую узнаем цену.

Так завершился этот снегопад.
Сугроб еще неделю был горбат.
На следующей резко потеплело.
Снег почернел и таял на глазах,
Тем самым пересиливая страх
Исчезновенья, но не в этом дело.

3. Год спустя

Действительно, может быть плач по прошедшему году,
По тем потерям,
Которые нас изменили меньше, чем ожидалось.
Теперь не поверим,
Что страшна разлука — страшна усталость
Застывшего дыма в морозном небе
И рук, дрожащих,
Как сам эпитет. Могу нелепей
И отдаленней сказать: дражайших.
Жизнь твоя отслоилась.
На тридцать восьмой параллели
Город латинским именем цыкнул дважды.
«Плачьте все со мной», — нас уговаривал Шелли.
И в одиночку не ведаем этой жажды.
Как забыванье легко дается, как послушно
Ты пропадаешь, утрачиваешься в тумане.
Мне фотографий этих цветных не нужно —
Снято при ярком свете, на первом плане.
Снег возвращается,
Мартовский, прошлогодний.
Перевернули колбу часов песочных.
Все равнодушнее думаю и свободней.
Нет, не песочных, не снежных, других — бессрочных.

4. Пять лет спустя

Чем вечер сырее, острее гниющим листом
На улице пахнет, чернее покажется дом,
В котором живу. Почему-то увижу другой,
Где я наслаждался, теперь не поверю, тоской.
Где речь о разлуке жила, как больное дитя:
Ее берегли, обнимали, ласкали шутя,
Но все-таки вслух называть не решались недуг.
Как новый абзац начинается дрогнувшим «вдруг»,
Героя романа таща из насиженных мест, —
Не так ли и твой оказался внезапен отъезд.
«Прощай» говорю, потому что не знаю других
Глаголов к тебе, потому что, избавясь от них
Той осенью давней, я все эти годы подряд
«Прощай» говорил, изнуряя разлукою взгляд.
Иссохшее слово, которому смысл придают
Сырая листва, да еще говорения труд,
Его оживляют, чтоб к сердцу прихлынула вновь,
Хотя бы на время стиха, расставания кровь.

5. Эпилог

Твое возвращенье, твое гостеванье, побывка
На Родине, мне представляется вроде отрывка

Из текста пятнадцатилетнего нашей разлуки.
Кремлевскому курсу «мерси» и воздушной фелюге

За этот подарок. Хотя стилевое единство
Позднейшею вставкой нарушено — экое свинство!

А если без шуток, то четкие контуры факта
Под линзою вымысла преображаются как-то.

Волнистая линия образа — высшая мнимость!
Меж «ты» и «мечты» существует, однако, взаимность

С оттенком назойливой и нутряной неприязни.
Твое возвращение — мой неудавшийся праздник,

Лишь тем замечательный, что провалились прогнозы.
Исчерпана тема и насухо вытерты слезы.

Пускай разбираются, что Мнемозина воздвигла.
Твое возвращение — есть завершение цикла,

Желанная точка с ненужной свободой за нею,
Сведение счетов с иллюзией, если скромнее.

К облаку

Я завидовал рваным, косматым,
Разлетающимся краям.
Я завидовал пухлой свободе,
Потому что хотел бы и сам.

Кто меняет легко очертанья,
Тот к бессмертию прямо готов.
Это я говорю изловчивший-
ся менять очертания слов.

Ты — привязанность, страх, или память,
Я без вас никуда ни на шаг.
Я рожден, чтобы вас позабавить,
Как паяц, как петрушка-дурак.

А когда эти пути ослабнут,
Твой тогда и откроется путь.
Так клубись же, клубись, разрывайся,
Исчезай, исчезай как-нибудь.

Пропавшему без вести

Юрию К.

Друг юности, уехавший на юг,
Прельстившийся соблазнами Кавказа,
Не возвратится, не напишет вдруг,
Каюк тебе, певец противогаса.
Ты и при жизни ускользал для глаза,
Опаздывал, обманывал, шутил,
Но, как ни каламбурна эта фраза,
Твой след, действительно, простыл.
Позволю себе вольность: зацеплю
Ничтожную, но все-таки возможность
Другого варианта. Во хмелю
Ты признавался, что любую сложность
Житейскую распутает шутя
Тот розыгрыш, воспользовался коим
Протасов Ф., дворянское дитя.
И ты, заинтригованный покроем
Такой судьбы, я думаю, ты мог
Так одурачить всесоюзный розыск.
Ищи-свищи растаявший дымок.
А эти наши возгласы и слезы —
Издержки неизбежные, они
Оборки завоеванной свободы.
.....
.....Будущие годы
Их поистрепят и пооборвут.
Но, чтоб не потерять тебя навеки,
Готовлю я заранее лоскут,
Рифмованный помин о человеке.
А, может быть, и ты на берегу
Кавказском, облюбованном Эротом,
Налаживаешь первую строку,
Направленную к Пулковским высотам.

Памяти Александра Б.

Зловещая мерещится мне связь
Меж этими поступками: внезапно
Для всех он прекратил писать стихи,
А девять лет спустя покончил жизнь
Самоубийством. Он меня любил
И часто повторял, что для поэта
Поэзия — есть пламень и судьба.
С каким-то странным воодушевленьем
Он говорил о *прóклятых* поэтах,
Смущая слушающих блеском глаз...
С тех пор как он впервые замолчал,
Мы редко виделись. И некий холодок
Возник меж нами. Тихий, тайный вызов
Я чувствовал в его речах, усмешке,
Как будто говорившей: «Несмышлёныш,
Ты главного не знаешь»... А в гробу
Самодовольно изогнулись губы.
В день похорон шел крупный, важный снег,
Ритмически настолько безупречный,
Что это возвращение к душе,
Кровавое, оправданным казалось.

* * *

О судьбах страны разговор,
Прокуренный, мрачный, полночный,
С надрывом, цитатой в упор
Прекрасно-неточной.
Безвыходности узор.

О судьбах страны разговор,
Свернувшийся в жуткую точку.
Все сказано. Кончился спор.
В промозглую ночь
Ведет коридор.

Теперь постоим у окна.
Молчание нас не обманет.
Напротив — стена.
И пауза эта длинна,
Когда по стеклу барабанят...

Северодвинск

Когда оглушительно так одинок,
Как в городе этом, когда поперек
Дороги позёмка петляет,
Себя убегая, и жметя к крыльцу,
Душа твоя — где обитает?

Когда переулок подобен столбцу,
То праздному что остается чтецу
Деревьев, искрящихся глухо?
Срезая углы, он к заливу идет,
Он шепота полон и слуха.

А там тишина необъятно растет,
Как ночью глубинный невидимый лед.
И так неприметна огромность,
Что речь тяжелеет, слипается в гул,
Свою вспоминает нескромность.

Сухой снег

(набирая воду)

Как страшно гудит в трансформаторной будке железо!
И воеет собака, и небо ночное белесо.
Рычаг под рукой дребезжит, и лупцует эмаль
Струя, содрогаясь. Устойчивость — это химера.
Ценитель базальтовых плит и любитель Гомера,
Обоих вас жаль.

Озноб выбирает деревья, кустарники, свечи
Себе в собеседники. Даже у сбивчивой речи
Свои преимущества. Как отражается дрожь?
Каким волновым подчиняется слово законам,
Когда произносится, как сотрясается кронам
В полуночный дождь?

И я присягаю твоей, неуверенность, правде.
Исправьте волнистую линию, только избавьте
Меня от участия. Как-нибудь сам проведу
Свою — бестолковую. Так, до последнего края,
Тупя карандаш, и мусоля его, и бросая.
Себе на беду.

Когда не страшен горец был в папахе,
Не открывалась боя панорама,
Когда я о Нагорном Карабахе
Впервые прочитал у Мандельштама,
И шлялся по проспекту Руставели,
Разгоряченный огненной чачей,
И пули спали, а грузины пели —
Тогда я был, наверное, незрячий.

Да и теперь, гуляя по Фонтанке,
Я не могу себе представить рядом,
Ну, гаубицу, скажем, или танки.
И все это, рифмуя со снарядам,
Я думаю о безотчетном даре:
Как возникает темноватый сполох
Предчувствия. О том, как на бульваре
Беспомощный метался листьев ворох...

Я знаю, что ехать не надо,
И что оставаться нельзя.
Что треснувшая громада
Заваливается, грозя.

И это не блеск парадокса,
А трезвый и взвешенный взгляд.
Тоскою больничного бокса
Огни городские горят.

И я, от судьбы принимая
Такую ребристую вещь,
Как выбор, заранее зная,
Что шепот ошибки зловещ,

Смотрю, как по небу ветвится
Изломанной молнии ствол,
Как вспыхивает зарница
И как озаряется стол.

* * *

Все чего-то боюсь: потерять ключи,
Уходя, включенной оставить плиту.
Хлопчи, мой хозяйственный, хлопочи,
Рассыпай по комнатам суету.

Чтобы только себя отвлечь от той,
Настоящей опасности. Укрупняй
Эти мелочи, начинай запой
Озабоченности, заходи за край!

Я-то знаю, во что превращает быт
Человека, какой ввечеру корой
Покрывается он. Это новый вид,
Петрушевская, это твой герой.

И пускай меня за мытьем полов,
Неожиданно точные, как всегда,
Настигают, хотя я к ним не готов,
Телеграмма, казенный звонок, беда.

А когда реальный масштаб вещей
Восстановит горе, вплотную вдруг
Смысл подступит, уставшая быть ничьей
Шевельнется речь и очнется звук.

Возвращение

Узнавая облупленный тамбур, заплыванный пол,
Фонарей узнавая слепящий во тьме ореол,

Узнавая шеренгу деревьев, крутой поворот,
На котором сначала отбросит, а после швырнет,

Узнавая вокзальный, в рябинах обломанных сквер,
Наконец, узнавая воронежский этот размер —

Я опять попадаю в привычный заверченный круг,
Где почти ничего не случается даром и вдруг,

Я опять попадаю в квадратные метры свои,
Где иссякла давно центронежная сила семьи.

Где наутро — будильник, а в полночь — эфирная речь,
Где разошлись полы, чтобы время сумело истечь

Незаметно и быстро, как свойственно только ему,
Придвигая к лицу непонятно-размытую тьму,

Для которой подобрано столько неточных имен,
И которой я буду в назначенный срок возвращен.

Асфальт

Матери

В черных оспинах, лунках — люблю.
Возвращаясь от друга, так долго
Мы болтали, тоску накормлю
Переливом сырым и блестящим.
Так убито и преданно жить:
В черных оспинах, язвочках влаги.
Это речь начинает першить,
Почему не хватает отваги
Отказаться, не дорожить?
Шелестящую силу забыв
И свободу, старательно втерты
Эти листья в зернистую плоть.
Все — отрыв и обрыв.
Рядом кто полумертвый
Произносит «Господь».
В черных оспинах, лунках — ловлю
Я на слове себя, на повторе —
Не дается предмет.
Зря я смысл терблюю:
Так раскидисто горе,
Что едва пробивается свет.

Весна в городе

То, что было сковано, расплзлось,
Под ногами грязная белизна.
И сестрой-хозяйкою ходит злость
По российским улицам дотемна.

Ах, в какой попали мы переплет!
Не веленевый, а железный нрав.
Гололед на улице, гололед.
То-то ухмыляется костоправ.

Перестанет сниться ли сон дрянной:
Шестерни зубчатые, жернова.
Подмигнет мне пьяница на Сенной:
— Однава живем, однава.

Эта кепочка набекрень на нем,
Да еще гармонь поперек груди.
Он когда обрадует кистенем?
Погоди чуть-чуть, погоди.

А пока частушки он раздает,
Чтобы сестрам всем по серьгам.
Молчаливым кругом стоит народ.
На Сенной поет Вальсингам!

В. Паиковскому

Выйду во двор погулять с детьми,
Там всегда выбивают ковер.
Краешек вечера отломи
На память. Был такой уговор

Тайный, лет тридцать тому назад,
Когда я впервые сделал ход
В сторону слова. Он был крылат,
Конь, и загадочен поворот.

Дети играют. Вдави, вдави
Перстень в горячий еще сургуч.
О отчетливый оттиск любви!
Оригинал, как ручей, текуч.

Здравствуй, сырая жизни вода.
Дай тебя опять пригублю.
Мальчик и девочка, вы куда?
Я вас сегодня остановлю.

Встреча

— Ты помнишь подвал с подтекающей вечно трубой?

— Конечно, конечно. Подруга и друг молодой
Сидели обнявшись. А та хохотушка одна
Грустила в сторонке. — Теперь она мать и жена.

— А этот художник, всегда приносивший батон
И плоско шутивший? — Уехал в Америку он.

— А помнишь еще математика, он Малларме
Читал наизусть? — За разбой арестован, в тюрьме.

— А ты изменился, изрядно, изрядно облез.

А с мистиком что? — Коммерсант, у него «Мерседес».

— Как всех разметала колючая жизни метла!

А где неприступная наша? — Она умерла.

Расставаясь, листва произносит...
Налетающий ветер потом
Эту фразу по городу носит
Торопливым таким шепотком,

Неразборчивым. Шелест и шорох
Вручены человеку, но он
В лабиринтах своих, коридорах
Бормотанием тем поглощен,

Что сердечная мышца внушает —
Это прожитой жизни шумы.
Прибывает листва, прибывает,
Прибывает к порогу Зимы

Старика в прорезиненном, сальном
На локтях, довоенном плаще,
От которого веет вокзальным,
Пропадающим, и вообще...

В переходах метро

I

Беженка просит на хлеб
Ребенок просит на гроб
Лучше бы я ослеп
Дед продает укроп

Лучше бы я ослеп
Впрочем это клише
Я подаю на хлеб
Я не могу уже

II

Раскинулось горе широко,
И войны бушуют вдали.
Товарищ, но где подоплёка?
Товарищ далёко, далёко,
Далёко от нашей земли.
Склонилась гармонь кособоко,
На рейде ночном тишина.
В пыли и тумане дорога.
На лицах тревога, морока —
Кому еще песня нужна.
«Когда это все прекратится?» —
Кричит неопознанный псих.
Монах начинает молиться,
Уборщица вслух матерится,
Летят перелетные птицы,
И много парней холостых.

III

Это те, кто не успели,
Не вписались, не смогли.

Это те, кто в самом деле
Оказались на мели.

Кто отброшены за скобки
И опущены на дно,
Для кого Приют Похлёбки
Строят в городе давно.

Перепутья и развилки —
Государева стерня.
Это — стружка и опилки
Под копытами коня.

IV

Капля не переполнит чашу —
Превратится в кристалл.
Ангел стоять на страже
Петрограда устал.
Уж больно ты озабочен,
Кошелек теребя.
Но стих евангельский точен
И настигнет тебя.
Вот тогда, под алмазом,
Блещущим правотой,
Ум, заходя за разум,
Там столкнется с такой
Переменою взгляда,
О которой пока
И толковать не надо,
Если бы не тоска.

* * *

Снег сухой летит на пруд,
Перхоть белая небес.
Тростника не видно тут,
Посочувствуйте мне, Блез.

Снег сухой летит в лицо,
Почему он так правдив?
Мира хрупкое яйцо,
Шаткий утренний штатив.

Ух, какая круговерть!
Колкий, колкий кавардак.
Леска, тянущая смерть, —
Держит удочку чуждак.

Он старается не зря,
Будущий владелец щук.
Снег сухой летит, творя
Хаос радостный вокруг.

Выздоровление

Я лежал в палате с одним бомжом, читавшим
Мне стихи о советском паспорте. За окном
Шел тяжелый и мокрый снег с бесконечно уставшим
Выражением ходока. И все время снился боржом.

Через день протирали полы, окуная в хлорку
Видавшую виды швабру. А сосед
Сообщал торжественно, что обожает Лорку
И Константина Симонова, да и сам — поэт.

И тогда я подумал, что смерть и карикатура —
Вещи две несовместные, как кровать
Поприщина и трон короля Артура,
Что сердечная выдержит арматура
И не стоит паниковать.

Что королевство кривых зеркал ничуть не хуже,
Чем одно идеальное, но завешенное с утра.
И что, как правило, внезапным припадком стужи
Заканчивается оттепели хроническая хандра.

Песенка

Снежок, снежок, превращайся в метель,
Не кружись вразнобой,
Летучую созывай артель,
Вычисти город пургой.

Снежок, снежок, где верх, где низ?
Денис, Абрам, Абдулла.
Легкость, вьющийся твой девиз,
Ни разу не подвела.

Снежок, снежок, а за мной должок:
Пока не поздно, успеть
Нескончаемый твой стежок
Еще и еще воспеть.

Снежок, снежок, обещают плюс —
Синоптику не перечь.
Поминальный послушай блюз,
Близорукую речь.

Исправно, исправно службу неси,
Пехотинец Белой Орды.
А подробности расспроси
У родственницы — воды.

Выше планку и выше стропила,
Глубже слово, свободнее звук.
Уносило меня, заносило,
И весло выбивало из рук,

Говоря фигурально, течение
Безразлично бурлящей реки.
Выручай, выручай, порученье,
Расширяй смысловые круги.

А иначе затянет в воронку
Разъедающей всё нелюбви.
Возмущай, не щади перепонку
Барабанную. Где визави?

Или так же он точно морочит
Разговором осеннюю мглу?
Ибо загнанный в угол бормочет
Только то, что понятно углу.

1953

Я столкнулся с историей в деревне, под Псковом,
Когда рыжий, веснушчатый вдруг заорал пацан:
«Берияпредатель!» Слипшимся от восторга словом
Я был потрясен. Еще не отправился к праотцам
Куратор Курчатова в пенсне и широкополой
Шляпе. В избе-читальне под шум дождя
Мальчика, наклонившегося над Оцеолой,
Приветствовал в узорной раме портрет вождя.
Колхозницы толковали о том, как сытно
Им жилось под немцами. Пастушок
Откликнулся на «фрица», и было видно
С какой неохотой ему подают кусок.
Это он посвятил меня в тайну деторожденья,
Он, чей папаша в подлиннике читал
Шиллера, запинаясь от возбужденья.
Я был потрясен. Вообще, приближался девятый вал
Потрясений. Век был раскрыт, как книга,
Посередине. И пока я ловил шмеля
Голубым сачком, разворачивалась интрига
(Я его поймал!) в самом сердце Кремля.

* * *

Мальчик возвращается из школы,
Синеватая густеет мгла.
Страха вертикальные уколы,
Радость освещенного угла.

Нежная искрящаяся крошка,
Слабая под каблуком пурга,
Хулигана ловкая подножка —
Ненависти вольтова дуга.

Кулаки, румяные от злобы,
Рыжее в подпалинах пальто.
Паиньку воспитывают, чтобы
Никогда не спрашивал: «За что?»,

Навсегда бы отвыкал от жеста
Побежденного перед врагом,
Чтобы время знал свое и место,
Смахивая слезы рукавом.

Совет постороннему

Полнолуние

Ночь. Узкий запах гари. Нечем
(Быть может, незачем) дышать.
Скажи, кто станет возражать,
Что Гнев Господень безупречен.
Горят торфяники. О тепловом ударе
Свидетельствует речь
Бориса Николаевича — скетч
На ту же тему: запах гари.
О сушь великая! Барометры зашка-
Лилó, лилó. А хочется, чтоб лило.
Ну, мало ли что хочется, бубнило.
Болит башка.
И душно. Нет, не няня, сядь ко мне.
Поговорим. Но узкий запах гари.
Нейгауза все называли Гарри.
Кому я говорю — стене?
О чушь великая! Велик он и могуч.
Экзема речи — шелушится юмор.
Гарь — это человек, который умер.
Шучу, шучу. Расчесанная шучь.
Не спится. Запах гари из окна...
Я попадаю в желоб повторений.
Ход холостой стиха во дни сомнений.
Всему виною — полная луна.

«Повязку бы на оба глаза».

О. М.

Мертвечиной несет, мертвечиной.
А рифмуется все с ветчиной,
Балыком, коньяком, бужениной,
Опостылевшей верной женой,

С разговором еще о клубнике,
О покупке еще гаража.
Ты какая-то скучная, Нике.
Даже нету в тебе куража.

Или стыдно за юность, за трепет,
Торопливую пробу пера.
— Обойдет, обойдет, не зацепит.
— Оцепило под крики «ура!».

Ты похож, драгоценный приятель,
На балансовый чей-то отчет,
Упакованный в скоросшиватель,
Тот, который никто не прочтет.

Не развяжет сухие тесемки,
От волнения их теребя.
Пожирнее, пожалуйста, семги —
Я потратил строфу на тебя!

Обои плохо приклеены, отстают.
Развивается трещина на потолке.
Вероятно, в Ютландии есть уют,
Или там, где на ласточкином языке
Разговаривают и гнезда вьют.

Отстают проклятые. Предстоит
Будущее столетие с тремя
Иллюминаторами. Уже сквозит.
Я разбит сегодня и невменя-
Ем. Пока не пропал аппетит.

«Отстают» — заученный назубок
Аутсайдером на лыжне глагол.
Как ни рвался в лидеры колобок,
Никуда от шелковой не ушел.
Патрикеевны черно-бурой щёлк.

Отстоял то ли очередь, то ли честь.
Поворачивая и так и сяк
Слово, что я хочу прочесть?
Творческий Иссык-Куль иссяк.
Нехорошая, согласитесь, весть.

Отстают... А когда сновидений яд
Проникает в жилы, тогда в ночи
Беспорядочно-тяжело парят
Хлопья реальности. Бормочи,
Засыпая: «Оттаивают, таят».

Алле

Чайки над Мичиганом кричат визгливо,
Не тоскливо. За двадцать лет —
Судьба и в случайности прозорлива —
Все рифмуется, даже «да» и «нет».

Чад этой пьянки под Ленинградом
Выветрился. Голова ясна.
Странно, что мы оказались рядом,
Но более — что не тускнеет блесна

Воспоминания. Бежит бельчонок,
Заметает пушистым следы хвостом.
Воздух стеклянно тонок, звонок,
Как чайки. Я говорю о том,

Что каждый, преследуемый тенью
Прошлого, растущей из года в год,
Жадно и радостно совпаденья
Внезапного напряженно ждет.

Навеселе

Прекрасное название для спектакля:
«Спектакля нет».

Не так ли, капли, не так ли
Смотришь на белый свет.

В обнимку, косые оба,
Дождь со снегом идут.
Тоски дешевая проба,
Подделка под изумруд.

Праздник искр из-под ромба
Трамвайного — фейерверк.
Если писать подробно,
Завтра будет четверг.

Пьеса, где нет сюжета,
Где ни главных ролей,
Ни второстепенных. Где ты,
Кто бы сказал — Налей

тенанте сидит фуражка
Криво. Ну, помоги.
Вот протекает Пряжка,
Здесь вправляют мозги.

Крюкова близ канала
Бродить хорошо, забыв
О том, что финка финала —
Да здравствует перерыв! —

В кармане у Мейерхольда
Небесного БДТ.
Два да здравствуют сольдо
На табак! И т. д.

Прошлое не цепляет, но вьется, как моль.
Поэт в тубетейке назвал бы его «гюрза».
Прошлое, как дымящаяся канифоль,
Ест глаза.
Точка реальности, а позади нее
Квадратные километры прошлого, тот плацдарм,
На котором и разворачивалось житье-бытье,
И Мировой за ним наблюдал Жандарм.

Точка реальности тем и прекрасна, что
Можно снять, а можно надеть пальто.

Прошлое все шире раскидывает шатер.
Парашютист, печально парящий шут,
Замечает сигнальный внизу костер,
Но притворяется, что его не ждут.
Прошлое прекращается с ударом об
Землю и сразу становится жизнью всей.
Радуйся, радуйся натяженью строп,
Упругости воздуха, болтовне друзей.

Лунка реальности — корундовым острием
Накерненный пустоты объем.

* * *

Теряешь к жизни интерес,
Не ходишь на выставки,
Все хуже читаешь,
Дружишь с диван-царевичем,
Распадствуя, наблюдаешь,
Как обходятся люди без
Великих произведений искусства.

Интерес — заключенное в нем тире,
На самом деле, двоеточие любопытства.
«Я никуда не хочу идти», —
Говоришь не без гордости.
Безукоризненная правдивость фразы —
Противовес интеллектуальной жадности.

Теряешь к жизни интерес,
Но в результате высказывания
Приобретаешь еще одно стихотворение.
Такова профилактика оправдания,
Пакет индивидуальной защиты,
Разрываемый с победоносным треском
Только потому, что звук — всегда радует.

Пыль на полу

Пыль на полу собирается в червячки, черевички,
Серое руно для фабрики «Большевички».
Пыль собирается в буруны, образует в углу бурунди,
Напоминая о том, как gloria mundi
Проходит маршевым строем. Напоминает о Бродском,
Который славен еще своим наброском
О сущности пыли, о метафизических ее свойствах.
Если музыка — пыль, необходим и Ойстрах.
Пыль собирается в восьмерки, овалы, тройки,
Кружкí, как это бывало до перестройки.
(Чтобы вынашивать планы борьбы с режимом
Мокрого веника, надо быть одержимым.)
Пыль собирается в те гусеницы, из которых
Бабочек не получится, себя узнаёт в узорах,
Извивавшихся некогда на зеленом экране
Осциллографа. Пыль, отрицая грани,
Из коротаевских состоит оборотов речи,
Из податливых, примиряющих всех колечек.
И, родня человеку, беззащитна пыль, беззащитна.
Вы это знаете, но почему-то стыдно
Не во время работы пылесоса-расиста,
А потом, когда становится тихо и чисто.

Семейное ведро

Моль летает в прихожей. Глагол
Из воды образован забвенья
И, себя отрицая, тяжел,
Как паромщика поползновенье.

Моль летает в прихожей. Она
Повторяет зигзаги припадка
Чересчур артистично: видна
Тренированная акробатка.

Виртуоз истерических дуг,
Копировщица их траекторий,
Неопрятно мятущийся дух —
На дому сумасшедший лекторий.

Вольнослушатель, что тебе даст
Торопливый обзор озлобленья —
Обязательный жизни балласт
Для подъема стихотворенья?

Ничего. Отработанный пар
Этот опыт, посредственной прозы
Удивительно ходкий товар,
Залежалого жанра отбросы.

Совет постороннему

Ты, свобода сосны, устремленная вверх,
Снег опрятный,
Тишина кристаллическая, без помех
Отраженная многократно.

Ясность так нарезана на пласты
Осторожно и ровно,
Что и небо, и воздух, и эти кусты
Откровенно единокровны.

Ну, а вы, устилающие залив
Ледяные знамена —
Ослепительный и замерзший призыв
Всё назвать поименно.

«Сколько уродливых лиц», спеша на свидание
с локомотивом,

Думала Анна. И я повторяю то же,
Мучим хотя совершенно другим мотивом,
Глядя по сторонам. Забыла даже Серезу.

Рожи, рожи. Рожистое воспаление
Генофонда нации. Ух, в газету
Занесло. Бульжники и поленья.
Поколение, выбравшее чудовищную диету.

Как тебе в этой давке метафор
(Бабель и Гоголь в одном вагоне),
Муза, узнала родимый табор?
Спрячь, не показывай им ладони.

То, что линия жизни — она же есть звуковая
Дорожка, не сказано в руководстве
По хиромантии. И в толчее трамвая
О чей-нибудь взгляд невозможно не уколоться.

Из дневника

После скандала в комнате ядовито,
Но зато безукоризненно ясно.
Vita становится ледовита;
Поле скандала однообразно,

Как эти надписи на заборах.
Ненависть все-таки монотонна.
Истина познается в сборах
К смерти, написано у Платона.

После скандала — свои гостинцы:
Беккет роднее, затяжка слаще.
О правоте перелетной птицы,
Врожденной, задумываешься все чаще.

Неудавшееся воспоминание

Я никогда не позабуду той
Болезненной гримасы сострадания...
(Какой-то Тютчев и туркменский пир
В одной строке.) Не позабуду взгляда:
Друг на меня смотрел, как будто мы
В последний раз прощаемся.
(Бездарно — цитата из дурного дневника.)
Мешает что-то. Механизм запрета
Витиевато скользок. Говорю
Пластмассовыми, тусклыми словами.
И надо отвернуться. Но першит,
Пищит и брезжит щуплая догадка:
Ужасно быть объектом наблюденья,
Стать кожицею, пленкой, оболочкой...
Кто выпит был внимательным зрачком,
Тот зоркости лишен воспоминанья.
Ну, ладно, обойдемся. Но теперь
Понятна мне насупленная фраза
О прелести духовной вдохновенья.
Да, да, стихотворенье — это грех.
Мы это проходили, и когда
Нас спросят, на экзамене ответим.

Ночь близка, в силу созвучия, к «почему».
Вопросительная интонация темноты.
Почему Генон предпочел чалму
И католические отверг кресты?

Ночь — немигающих, без ресниц, очей
Вече, глядящих всегда в упор
На тебя. Я не выдержу, казначей
(Почему казначей?), черный немой укор.

Это Тютчевым, Тютчевым внушены
Страхи ночные. Ответчиком будет он.
Как стихи заразны! Прилипчивей тишины,
Ее марширующих штурмовых колонн.

Ночь — испытанье. Тем, кто в коконе сна,
Им — хорошо, какой бы ни снился бред.
Раз казначей, то значит — пуста казна.
Или у Юнга найдется другой ответ.

Мелкий каракуль тревоги, траурное руно.
Мамина муфта зачем-то вспомнилась мне.
Посторонние мысли, как спирали Бруно,
Защищают ночью лежащего на спине.

Так лениво переругиваются супруги.
Дождь доказывает подоконнику правоту.
И хотя его доводы отчетливы и упруги,
Дробность аргументации все-таки выдает тщету

Разговора обиженных, в котором тонет
Обмылок мысли. Кто ее ухватил —
Тот и выиграл. Поэтому дождь долдонит,
Забыв, что все уже сказано, что Батилл

С пустой бутылкой обернулся двойной цитатой.
Лишь тишина не сжата кавычками — лишена
Авторства. А то бы стала хвостатой.
Да и дождю не скажешь: замолчи, жена.

Несокрушимое, в вечных руинах, царство спора.
Выясняющие отношения сталь и шлак.
По окончании диспута рухнет на сцену штора.
Зрители предупреждены, но все равно аншлаг.

— Почему ты мрачен? — спрашивает сын.

— Потому что думаю о муравье.

Логика — не протухший ли керосин?

Хватит в крахмальном рыться белье

Объяснений. О муравье, о том,

Как тяжело ему одному

Тащить в шевелящийся свой дом

Травинку. Трудно вверх, по холму.

Вниз — удобнее. О корнях,

О вздувшейся судороге родства.

О том, что любой человек — горняк,

В шахту опускающийся естества.

О том, что подошва — внезапный танк.

Что лишь посторонний сумеет взор

Узнать, отчего же именно так

Сложился жизни моей узор.

Ночью в Твери на вокзале.
Дыма летящая прядь.
Что вы, диспетчер, сказали?
Я не могу разобрать.

Гулкий, тревожный, протяжный,
Ноющий звука озноб.
Скорый, почтово-багажный.
Света безжалостный сноп,

Бьющий по нежной сетчатке.
Там тебя высветят, где
С жизни берут отпечатки,
То есть на Страшном суде.

Холодно, суетно, скверно.
Вон товарняк пронесло.
Бревна, платформы, цистерны,
Красные точки табло

Ярким горят двоеточьем.
Черная фраза без слов —
Небо. Транзитные клочья
Вязких, как сон, облаков.

* * *

Две недели в коллективе
Среди ясных лемболовских сосен.
Прислониться бы к плакучей иве.
Мир несносен.

Все ушли. С приклеенной улыбкой
Как остановился, так и стой.
Ветер неуверенный и хлипкий.
Мир простой.

И разволновался так с чего я?
Вьется всех высказываний прах.
Облако густое, кучевое,
Кочевой монарх,

Лир сосредоточенный, безмолвный,
Двигается куда-то наугад
Без проклятий, грохота и молний,
Потому что — над.

Плещется слово

* * *

Родил двух детей.
Посадил березку.
Написал книгу.
Выходил на Бродвей,
Перечитывал тезку,
Не попал в лигу
Чемпионов. Курил.
Наблюдал в зоопарке
Ностальгию горилл.
Ненавидел припарки.
Приходил с бодуна.
Ездил в командировки
И был засекречен.
«Человеку дана
И прожить ее на...»
Огорчался, что нечем
Заплатить за пирог.
Портмоне вынимая,
Смотрит девушка вбок.
Эта сцена — немая.
Смалодушничал. Жил бы сейчас
На земле Гедимины,
В краю янтаря.
И, в тоску облачась,
Горевал бы невинно,
О Неве говоря.
Не сбылось. Не сбылось.
Появился сохатый.
Плохо нынче спалось.
Кровосос бесноватый

Набирал высоту
И подзуживал слева:
«Подводящий черту,
Словно старая дева.
Или хуже того —
У судьбы попрошайка».
Что-то мне дурново,
Дурново по ночам.

О стихах

Речь нарочита, странна,
Заострена. Как рогожа,
Шероховата. Свежа.
Ни на что не похожа.
Речь рубежа.

Речь как отказ
От обаяния. Сцепка
Смыслов. Графит и алмаз.
Сложная лепка.
Речь как компас,

Тот, где пропала
Стрелка. Теперь
Знойно ли, снежно,
Хочешь — проверь.
Ибо открыта тайная дверь.
Речь неизбежна.

Я любил вас, Эльза Лазаревна. Теперь
Я могу вам признаться в этом. Тогда, в пятьдесят четвертом,
Я замирал, когда открывалась дверь
И вы появлялись в своем безупречно черном
Жакете. Кто-то старательно выводил
Букву «О». Овал был так совершенен!
Но я учился без вставочки и чернил
Чистописанью чувств. На стене красовался Ленин.
Эльза Лазаревна, я закрывал глаза
И шептал ваше имя, переплетая звуки,
Воображая лаз, где растет лоза,
И улыбался бессмысленно, как Судзуки.
Однажды я встретил вас в сопровождении двух
Курсантов. Вы неестественно хохотали,
Поглядывая на правого. Плыл тополиный пух.
Такова была первая ревность, ее детали.
Эльза Лазаревна, к сожалению, я
Не послал вам в бокале черную розу.
Я сегодня должен соединить края
Времени, наконец-то вынуть занозу.
И забыть навсегда, как стучал и крошился мел...
Повстречаться нам суждено едва ли.
Честно говоря, я даже бы не хотел,
Чтобы вы это когда-нибудь прочитали.

Тень внезапная вороны,
Пролетающая по
Тротуару. Обороны
Не ищу, товарищ По.

Как привет от Хокусая,
Как проекция беды,
Тень крылатая, косая,
Все равно — аллаверды!

Так когда-то на Риони
Говорил мне тамада.
Тень зловещая погони,
Метка черная, куда?

Это все еще разведка,
И бездействуют ремни
Приводные. Видишь — ветка.
Отдохни, повремени.

Чтение стихов

Не знаю как покойнику, вдове
Хотелось, чтобы «Август» Пастернака
Я прочитал у гроба. В голове
Отозвалось немедленно «однако...»

Последняя летучая листва
Заглядывала нехотя в могилу.
Я прочитал бессмертные слова.
Как обещали утром, моросило.

Он ничего не понимал в стихах
И говорил об этом с прямою,
Присущей алкоголикам. Размах
Его тоски равнялся не запою,

Но более интимному, тому,
Что немцы обозначили Weltschmerz'ем.
Все порывался ехать в Кострому.
Не удалось. Не выдержало сердце.

Не жалуя столичную толпу,
В провинции он видел образ мира.
Дождь хлынул неожиданно. Тропу,
Петлявшую в березняке, смыло.

Потом была поминок толчея.
В истерике его учитель бился.
Вдова меня благодарила. Я
В тот вечер омерзительно напился.

Юность

Черная, мелкая, нервная дрожь на Фонтанке.
Только такой и бывает живая вода.
Плещется слово, ему хорошо без огранки
Пристального, прищуренного труда.

Пушкин на площади воздух рукой обнимает.
По-дирижерски поставленный бронзовый жест.
Кто меня давит, прощупывает, обминает?
Плещется слово окрест.

Как благодарно-внимателен слушатель гула!
Как неуверен еще начинающий сноб.
Все на местах, чтобы к жизни меня развернуло
Ветром, сбивающим с ног.

На приезд товарища Ким Чен Ира

Ким Чен Ир приехал, Ким Чен Ир,
Их любимый руководитель.
Неудобства пассажирам причинил
Отвратительно одутловатый китель.

Ким Чен Ир приехал, черенок
Ким Ир Сена, отца родного.
Бронированный прогрохотал челнок
От Хабаровска до Бологого

И обратно. Образец чучхе,
Россиянам знакомый впрочем,
Он привез. Интеллигенты «хе-хе-хе»
Закудахтали, разглядывая почерк,

От которого отвыкли, цвет чернил,
Красный, вспоминая сразу.
Ким Чен Ир приехал, Ким Чен Ир,
Из Пхеньяна он привез заразу.

Ким Чен Ир приехал. Чей кумир?
Их Ахматова переводила.
Перейти на иностранный: komm zu mir
Разве скажешь пасти крокодила?

Чем же мне отмыть родную речь:
Кашемиром, кременчугом,
Может быть, попробовать ургенч,
Азиатским попытаться звуком?

Ким Чен Ир приехал. Навсегда,
Отзываясь тухлым эхом,
Врезалось. Какая ерунда!
Ким Чен Ир приехал и уехал.

Как-то легче жить, когда
В небе помаргивает звезда.

Соринка наждачная, никому
Не мешающая. Колыму

Приветствующая и Мадрид —
Так дружелюбно она горит.

Это слабое покалывание. Каким
Кодом пользовался Элохим,

Зашифрованную передавая весть?
Можно почувствовать, не прочесть.

Мерцание звезд подобно еще стихам.
И то, и другое уничтожает хлам,

Накопившийся за невероятно бездарный день.
Все, что было сдвинуто набекрень,

Наконец-то, в поисках своего гнезда,
Выпрямляется. В небе царит звезда.

Пурпурно-траурная прилетала
Четырежды, билась под потолком,
Крыльями лепетала.

О ком

Эти судороги, биенья?
Чья взыскует душа
Отклика, стихотворенья?
Если карандаша —

В другое влечай окошко,
Там, где стоит мольберт,
Шелестящая брошка,

Буква «ферт».

Прелестная танцовщица,
Ты не услышишь «бис»,
Непрошенная жилица,
Солирующая близ

Люстры. Тебя же ради, —
Выматывайся отсель, —
Распахивал створки. В прохладе
Живи, Жизель!

Ибо твои старанья
Здесь оставляют след
Истерики — не страданья.
Я не люблю балет.

Мелькания слишком много,
Изощренных прыжков.
Берегись, недотрога,
Ловких сачков

У юных натуралистов
В нетерпеливых руках.
Почему так неистов
Твой законный взмах?

Ветер

Здравствуй, пронизывающий, сродни
Стихотворению, свистящий,
Подгоняющий эти дни,
Расправляющийся с чащей,
Остервенелый. Ну, извини.

Здравствуй, северный. Твой порыв
Понятен, как и твои резоны.
Ты — тысячекрылый гриф,
Терзающий золотые кроны.
Я бы всему присвоил гриф

«Совершенно утратно». Ты — прямой,
Резкий, не терпящий возражений,
Приказывающий «Иди домой!»,
Наводчик проверенный наводнений,
Случающихся даже зимой.

Как любой талантливый, ты
Посягаешь стать гениальным —
Ураганным, и гнешь кусты,
Только бы объявили шквальным.
О несбывшиеся мечты!

Безудержный, хулигань пока,
Шли приветы слетевшим шляпам,
Растаскивай сонные облака,
Радуйся: ты еще не заляпан
Обидным именем ветерка.

* * *

Пластинчатый калейдоскоп Фонтанки.
Смерзается, мерзается вода.
Безумное лицо у горожанки.
Она торопится куда?

Куда спеша сгущаются потемки,
В махровую какую тьму?
И синусоида поземки
Указывает путь кому?

Прошу, не спрашивай порошу
И не заботься о душе.
«Ты нехороший, нехороший»
Никто и никогда уже

Не скажет. Пухлая обида
Ребенку раздирает рот.
Гляди, гляди, кариатида,
Как трудно человек несет

По бритвенному гололеду,
Пришептывая «отвяжись!»,
Свою горбатую свободу
И неудавшуюся жизнь.

Б. Фрезинскому

Человек смотрит, как работает экскаватор,
Чисто, преданно, удивленно.
Его книга любимая — «Генерал Доватор»
Из военно-патриотического легиона.

Его любимые сигареты — «Прима».
Герметичный взгляд, бесполезный.
Созерцание (Рильке) неумоимо —
Будда или черпак железный.

Вот он и выдернут из родного ряда
Повторяемостей: семья, работа.
Ничего от жизни ему не надо.
Сосредоточенность — это свобода.

Он сейчас втягивает силовые нити
Тончайшего, чаемого эфира.
Обойдите заранее, не толкните,
Не разбейте бутылку его кефира.

Пусть он в подлинности продлится,
Просмолился ею, похорошеет,
Прежде чем на улицу возвратится
И увидит выкопанную траншею.

Настроеньице

Не пейте на ночь кофе черный.
Придет бессонница, а там
И жизнь покажется никчемной,
Свалявшейся, как этот хлам.

Подолгу на ночь не курите
И не глядите на луну.
А то, подобно Маргарите,
Потянет подойти к окну,

Намазаться зловонной мазью,
Особенно терзая срам,
Почуять прелесть безобразья
И улететь ко всем чертям!

Почти проза

Безумие жизни — в петлях, крючочках хлопот,
В заискивании перед тем, кто платит,
В жарких спорах, чей благородней прадед
И почему Пол Пот
Исказил идеалы марксизма.
Вот,
Что приходит в голову белой ночью
На берегу залива — иллюстрация Конашевича
К «Сказке о золотой...» —
Когда собираешь полужнакомые клочья
Того, что было утром еще тобой.
Отбой давно отыграли; «вечный бой» пионерам
Снится, как перестрелка в модном боевике.
Небо перед рассветом становится выцветше-серым,
Как фраза, произнесенная на броневике.
Безумие жизни очнется со звуком горна,
Но не все безнадежно, пока существует норма:
Зардевшись так, что рыжие волосы начинают пламенеть,
Подросток покажет свежие вирши, беспомощные бесспорно,
Однако это — единственное, на что еще стоит смотреть.

* * *

Сколько черных кавычек на небе.
Этот сборник крылатых цитат
Составляет заоблачный ребе,
Кучевых долгожитель карпат.

Напрокат предлагаются притчи,
Чтобы мы вразумились, прочли
Перелетные записи птичьи,
Не заботясь особенно чьи

Вручены директивы пернатым.
Или дедушка думает, что
На земле человеческий атом
Переменит свое существо,

Устыдившись peccatum'a¹? Ты же
И по-русски не вышепчешь «грех».
Выполнять указания свыше,
Запрокидывать голову вверх

Не по статусу гордой козявке,
Не догадывающейся о том,
Что спасения тайные явки
Все провалены. Ты — на булавке,
У Смотрителя «под колпаком».

¹ Peccatum — грех (лат.).

Посвящается курительной комнате РНБ

Отравленный книгами, сигарету смоли.
На снимке скользящем Рентгена
Увидишь одно Сомали.
Но это твоя гигиена.

Щелчок зажигалки. Дыши
Особенным здесь никотином.
Родные вокруг типажи:
Вот эта скотина

Совсем бородой заросла.
В диковинной роли
Она эссеиста-осла
И злобного тролля.

А вот — Белоснежка, седа,
А так же — невеста.
Во рту у нее деррида
Из лучшего текста.

Знакомый поэта прононс
И критика профиль.
Тут, кажется, воздух пророс,
Как старый картофель,

Унылыми стрелками раз-
говоров о лите-
ратуре. Смолите
Неприкосновенный запас.

Заходи, незнакомец, в вольер,
Эти особи все же культурны.
И любуйся, любуйся на пепел и урны,
Те, которые Белый воспел.

Объяснительная записка

Когда термометр показывает «ой-ой-ой»,
А стекло покрывается ледяной чешуей,
Когда лапы ели похожи на лапы льва —
Тогда обнаруживаются слова,
Что заметны только зимой.

Их, как пальто подаренное, не сносить,
Их, вообще, не хочется произносить,
Отложить до апрельских дней.
Иней, иней, становится холодной,
Интонационная увлекает нить

В сторону Бродского, любимых его ходов.
Я немедленно отказаться готов
От этого стихотворения. Но комок
Молчания, как лиловый смог,
Пережигает губы. Я не здоров.

Только бы оттолкнуться и взять разгон,
Из себя ненужного выйти вон.
Там звуковая зазубренная волна
Авось подхватит. Кривая, она одна,
Вывезет. Потому что — вольна.

«Обрати свой взор внутрь себя и смотри» —
Будет выполнено dePOSE Плётин,
Или Плотин. Начинаю по счету «три».
От брезгливости, кажется, я свободен.

Погружаться в бездну, как тот Кусто, —
Бесперспективное занятие для поэта,
Если заранее знаешь, увидишь что:
Еле мерцающую личинку света.

И поэтому он, словно Алёнушка у ручья,
Над неправильной наклоняясь дробью,
Для простоты именуемой «речь» и «я»,
Пригорюнившись, ищет свое подобье.

Да еще эта липкая белесая темнота,
По карнизу прогуливающиеся гули.
Духота. Неубранная тахта.
Так от жизни отлынивают в июле.

Вид с балкона

Кафе «Лагуна», бар, аптека,
Ломбард, бордовая «маршрутка».
Они для блага человека,
Которому сегодня жутко.

Старуха собирает банки,
Сосредоточенно их топчет.
Расплющивает, как поганки.
Да что меня сегодня точит,

Корежит. Магазин «Строитель»,
Там продаются пассатижи.
Стоящий на балконе зритель
Завидует тому, кто ниже.

Какой-то морок подростковый,
Такое в духоту бывает.
Сосед омегою-подковой
На дверь удачу прибывает.

Доказывает в небе чайка
Саму себя, без теоремы.
А что решила «чрезвычайка»,
Мои, а не ее проблемы.

Два облака конспиративно,
Похоже, замышляют ливень.
Прекрасно все или противно
Зависит только от извилин.

Дождись раската громового,
Слепящего за ним зигзага,
Переведи часы на слово
И успокойся, бедолага.

М. К.

Заканчивается записная в кожаном переплете,
С воющим волком на лицевой стороне.
Для сохранения стихотворной плоти
Подаренная. Мы жили тогда в стране,

Аббревиатура которой не зря пугала
Народы. Подаренная незадолго до
Окончательного и стремительного развала.
Все негодовали, ждали, и он пришел, Годо.

Заканчивается карманная золотая клетка.
Сколько же было в жизни пустот!
О, как редко вздрагивала каретка
И шуршала копирка за этот год.

Только такие делать и надо
Подарки. Сотовый перебор
Выпукло-влажных гранул граната,
Звуковой во времени коридор.

Линия связи, где перебои
Отсутствуют, выводящая в сад
На берегу реки, где двое,
Счастьем ошеломлены, стоят.

Сад Дзержинского

В. Гандельсману

В этой точке и началась прямая.
Всё было ярко, выпукло, единственно и вокруг.
Мы играли с тобой, еще ничего не зная
Ни о странных сближениях, ни о друг

Друге, рядом с карикатурным
Гранитным символом ВЧК,
Под окрики «не прислоняйся к урнам»,
«у тебя измазана вся щека».

И еще под присмотром Того, Кто нити
Будущего теребил в руке.
Твой ли ангел «Соедините»
Попросил у Сидящего на крыльце

Или мой? Или они дружили
И хотели, чтобы и здесь, внизу,
Мы хоть как-то, но повторили
Фразу дружбы? (И стрекозу

Не забуду над Малой Невкой,
Где, чиркая по воде крылом,
Чайки вскрикивали, делясь
Свежей новостью, однодневкой,
Небесным, а не морским узлом
Завязанную, оглашая связь.)

А. Дубровской

Теперь я знаю, как ты сидишь
За компьютером, передвигаешь «мышь».
И лицо не то что бы обречено,
Но тоскою озарено. Зерно
Твоей правды, звучащее как «зеро»...
Не разгрызть его дремлющее ядро.
Я видел твоих соседей по авеню,
Хижины дяди Тома многочисленную родню.
И не забуду оливковый равнодушный взгляд
Мамаши, гуляющей с выводком дошколят.
Кутаешься в самовязаную ледяную шаль
Одиночества. Понимаю, жаль,
Что на двоих эта шаль мала.
Когда я слышал лепет тепла?
Чужая жизнь, увиденная со стороны,
Поражает: зеркально отражены
Твои беды. У всех и повсюду так.
И эти двустушия — только знак
Равенства.

Трельяж

Мы врозь состарились и в разных городах.
За это время шпили потускнели
И вырос аккуратный карадаг
Разлуки. Телефонные туннели
По праздникам соединяли нас.
Как ни транжирил золотой запас
Воспоминаний — их не убывало...

Гладенько, гладенько. Накатанная строка,
Интонация именитого стихотворца К.,
Не имеющая отношения к твоей судьбе,
Равно как и рецепты лауреата Б.
Славненько, уютненько, суффикс «еньк»
Зафиксирует намертво этот треньк.
Если, как балалайка, талант скулит,
Сразу же, не раздумывая, нажимай Delete.

«Мне плохо без тебя» — и положила трубку.
Драгоценный кристалл этой фразы,
Ничем не отличимый, впрочем,
От бездарных побрякушек и подделок
Подобных высказываний, следовало
Растворить в стихотворении.
Он подошел к окну. Прислушался к уколу.
Снег сворачивался в продолговатые стружки,
Напоминающие любимое в детстве пирожное.
«Хворост», подумал он, «хворость». Первая строка
Обрадовала, но во второй уже сквозил
Некий привкус неподлинности.
Снег вдруг остановился, боль испарялась,
Он испугался и, выбрав опережение,
Решил продолжать...

Посвящается Маяковскому

Когда выпадают зубы, знаю кому это нужно:
Прежде всего, стоматологу. Лиля Брик
В Лондоне, в ресторане жрет севрюжину,
Впрочем, поэт к деталям таким привык.

Когда выпадают зубы — это всегда обидно:
Кому интересен шамкающий, со вставной.
Любовная лодка, конечно, разбилась о быт, но
Теперь-то он будет понят своей страной.

Когда выпадают зубы, думаешь о возвышенном,
О бренности существования, о тщете,
О том, что как хорошо бы «мир — хижинам»
Связать с постулатом о правой и левой щеке.

О том, что тебе еще не открыты таинства,
И можно примкнуть, и церковь не за горой.
Боже мой, кажется, этот тоже шатается,
Точно шатается, значит, уже второй.

Когда выпадают зубы, негоже впасть в истерику,
Помни, щербатый, — ты сам себе протезист:
То есть день посвети хотя бы лимерику,
Вписывай результаты в больничный лист!

Вот и всё. А потом забудь о событии.
Ничего особенного: во рту — дыра.
Не то что ваше скандальное чаепитие
С одним господином, по фамилии Ра.

Поэт

Ты, кто так в одиночестве изощрен,
Предпочитающий разговор снежинок,
Слушающий с восхищением крик ворон,
Разработавший алфавит ужимок.

Ты, узнающий по шутке шум тоски,
Находящий иголку в стоге сена,
Хватающийся изредка за виски,
Когда фальшиво заголосит сирена.

Из клокочущей собственной пустоты
Извлекающий ледяные слитки
Четверостиший, доволен ты,
Завидующий раковине улитки?

Перебежчик внутренний из одной
Ясности тупика в другую,
Механизм неправильный, заводной,
Ключиком звуковым вслепую

Приводимый в движение. Ренегат,
Верный, однако, двум подобным.
Хватит. Ты — все-таки не закат,
Чтоб о тебе писать подробно.

* * *

Сними воспоминание с плечиков,
Аккуратно его расправь.
Мать стоит на больничном крылечке.
Это явь, это явь, это явь.

Это Лахта, и дождь, и рябины,
Это, ах ты, бледный закат.
Мать стоит в ожидании сына,
Он сейчас принесет шоколад.

Возьми воспоминание, высвободи,
В тесноту стиха отпусти.
Сотри испарину исповеди
С исчерпывающим «прости».

Это первые реплики горя,
Одиночество в полный рост.
Это паузы в разговоре,
Расторопной беды форпост.

И когда к тебе, ожидающей
Под защиту козырька,
Подходил я, во мне тогда ещё
Шевельнулась эта строка.

Роману Обухову

Посвятить, что ли, пепельнице,
Черному ее стеклу,
А не современнице.
Где ты, Андреас-Лу?

Формой тороидальной
Соблазниться успеть,
Ибо ни берег дальний,
И ни другая смерть

Не вдохновляют. Окурки,
Лежбище запятых,
Сохранит в Петербурге
Этот сегодня стих.

Другого нам интереса нет,
Согласитесь, друзья.
Стекло обязательно треснет,
Но звук расколоть нельзя.

Посвятить, что ли, пепельнице,
Уже на исходе дня
Чудно-дымчатой пленнице,
Освободившей меня.

Сердце сдавливает, и оно отвечает «да»,
Ожидая реплики валидола,
Тающего, как облатка льда.
Это такая особая школа

Красноречия, и тот язык,
Который понятен без перевода,
Особенно если к нему привык:
Открытой форточки, кислорода.

В духоте метро,
Зов ускользания узнавая,
Растерянно вспоминаешь про
Доктора, ехавшего в трамвае.

И со лба стираешь не липкий пот,
Но следы предельного приближенья
К разгадке, высыпавший налет
Истины, бисер предупрежденья.

Но, доехав, все-таки, до кольца,
Не увидишь рельсовую развязку.
Ибо тебя пожалели, стянув с лица
Гиппократову маску.

Элегия

С какой-то жалобой листва бежит к ногам
Шумящим и неряшливым рулоном.
Нашла себе защитника, я сам
Подобен этим кленам.

Раздерганный, чем я могу помочь
Тебе, гонимое, оборванное братство.
Мне самому бы, наконец, собраться
И выйти в ночь.

Чем ветреней, тем губительнее бег
Коричневых, оранжевых, червонных.
Там, наверху, уже торопят снег,
И в белых легионах

Готовятся к нашествию, броску,
Стирающему шорох. Не протестом
Пора встречать скрипучую тоску —
Прощальным жестом.

Бегущий на роликах под дождем,
На спине у него рюкзак,
Под развевающимся плащом
Отрочества. Зигзаг

Выписывающий, как будто и нет
Ни выбоин, ни обид.
Воздухом пятнадцати лет
Рюкзак у него набит.

Безостановочно так скользит,
Незнания взяв разбег,
Не замечая, что жизнь — транзит,
Путь из варягов в грек...

Легкости шелестящий шлейф,
Извилистой воли стиль,
Не разработанный мною шельф
Свободоносный... Spiel,

Играй, балалайка, а ты беги,
Влекущий лови простор,
Вставший именно с той ноги,
Неведомый юниор.

Повернуть рукоять себя внутри,
Чтобы выйти из плоскости на
Открывающуюся глубину, смотри:
Она губительна, глубина.

Прожить на осколках остаток дней
Куда честнее, хотя больней,
Чем черепки один к одному
Склеивать на дому.

Повернуть внутри себя рукоять,
Напоследок сорвав резьбу.
Потому и хотелось всегда сорвать
На стоп-кране скобу.

Написанный текст, на меня в упор
Глядящий, с недавних пор
Напоминая внешне стихи,
Есть образец трухи.

Не пользуйся речью, как рычагом,
Или отмычкой. Речь
Работает лучше всего ручьем,
Ей надо себя истечь.

И помни что говорил Архимед:
Точки опоры — нет.
Это правило справедливо для
Воды, поэта, шмеля.

СТИХОТВОРЕНИЯ 2003—2004 ГОДОВ

Раскусывая надвое таблетку
Нитросорбида, утром. Ритуал.
День разделен в мозгу на клетки,
И в каждой вписано «устал».

Тук-тук. Итог. Итог токует,
Костлявую ли самку ждет.
Войдите: человек тоскует
И сам себя не узнает.

Тук-тук. Простукивай, как сыщик,
Ища сокровище в грудной.
Все чисто. Ничего не свищет.
Утешься тишью отварной.

Тук-тук. То дятел, а не ворон,
Жилец, а не ПОлночный гость,
Долбящий, он еще уверен,
Что правильно заточен гвоздь.

Тук-тук. Да это позывные
Слепца, идущего домой.
Так отбивайся козырными,
Оставшимися в звуковой

Колоде. Как оно протяжно
Себя удвоившее «у».
Вглядись, взглядишь в него бесстрашно:
Вот-вот увидишь синеву.

Письмо Т. I.

Жижа слов, велимировы плавни, ряска
Религиозности, гниющий дух.
Вдохновение — как хлыстовская тряска,
Ах, скорей бы, скорей бы пропел петух.
Леди бледная блюдечек, со слововерченьем
Ты не справилась. Призрак поэзии на
Страницах (мертвенным полон свеченьем,
Неновым, неоновым) бродит. Ты не темна,
Но — мутновата. Критики в пестрой водице
Ищут не зря гениальности юрких щурят.
Славно мелькают филологов ловкие спицы,
Все им не спится — еще не закончили ряд.
Черную шаль примеряя, другие девчата
Так же трагически будут смотреться в трюмо.
Ты получила, необыкновенное чадо,
Всё по заслугам, особенно, это письмо.

Разговор

Понимаешь, налей еще, вот так.
Такая произошла хуйня:
Двадцать лет прожили, как-никак,
Вдруг она спрашивает меня:
«Ты меня любишь?» А я молчу,
Не понимаю, ответить что.
Вчера испортила алычу
И забыла подшить пальто.
А вообще-то она дает
Исправно, и наваристы щи.
Вот и молчу я, как идиот,
Правильные слова подыщи,
Попробуй. Давай, еще налей.
Зла не хватает на этих баб.
Был бы начитанным, как еврей,
Я бы ответил. А я — прораб.
Конечно, можно и на развод...
Но дети, квартира. Всё — кранты.
Водочка на жаре берет.
Ну, хорошо, а что бы ты
Ответил? И я бы ее послал,
Но у моей почему-то шок
От мата. Переживем скандал.
По последней, на посошок.
Славно-то долбануло, да.
Бывай, сегодня больше не пью.
«Двадцать лет жили туда-сюда,
Ну что же надо от нас бабью?»

Лучший вариант

По небу летящие штучки,
Потерявшие «ша»,
Превращаются в тучки —
Радость для малыша.
Эти небесные сдобы
В каждую ввел семью,
Их обессмертить чтобы,
Лермонтов Мих. Ю.
А так бы они, без цели,
Хрестоматийных томов
Мимо, себе летели,
Мимо школьных голов.
А строгие педагоги,
С указкой наискосок,
Не мучались от изжоги —
Как провести урок.
Дайте несчастным отдых
От шнуровки цитат.
Доля «вечно свободных»,
Словно доля солдат.
Суэцкий или Обводный
Плыл бы внизу канал.
Летели бы беззаботно,
Никто бы о них не знал.

Ходом Ходасевича

Хорошо, что нельзя встретить себя семилетнего,
В сквере напротив, прекрасно, что нет его,
Тихого мальчика. А пьяный седой мужчина —
Он фантастичнее кустистых метаморфоз
Овидия. Время — это причинно-
Следственная камера предварительного заключения.

А допрос

С пристрастием будет опережен вынесенным приговором.
Пока последовательность событий не перепутана. И
Человек радуется, что это кричит ворон,
А не мальчик, ударившийся полвека назад об угол скамьи.
Все заживет до свадебного матраса —
Так ему объяснили. Марлевым, как ночные страхи, бинтом
Перевязали рану. Всучили книжечку про Тараса,
Расово некорректную, как выяснилось потом.
Нынче в этом сквере поставили памятник
Другому Тарасу, но щирому тож хохлу.
Человек пригорюнился, головой поник.
Ик-ик — больше не выговорить «старому козлу».
Так его припечатала официантка едко,
Выметая осколки, когда он разбил
Четвертую рюмку. Нередко, нередко
Он это слышит. Кто его торопил
И тогда, и сейчас? Достав сторублевку смятую,
Потирает коленку, как будто с тех пор саднит.
Непонятно кому назло заказывает пятую,
Пьет и мутно рассматривает «Кобзаря» гранит.

О, чистота прозвучавшего стиха Шелли,
Просиявшая среди копоты свежих анекдотов. О,
Изумительный свет слова, пробившегося сквозь щели
Неопрятного разговора, слова, чье вещество
Не корродирует. «Музыка есть над нами» —
Видит кто или нет — как это он сказал!
На выход, на выход. Потом — проходными дворами
И сразу же выбирать вокзал.
Ну, хотя бы, Балтийский. Он по звуку —
Родня Кастаньскому, которого нет.
Сколько можно пережевывать эту скуку
Наших застолий, вечеринок, встреч, бесед?
В юности мы выжигали, видно, недаром
Ржавую плоть пошлости, наперебой
Читая стихи запоем, дыша перегаром,
И, забывая строчку, подергивали губой.
Запасов озона хватило нам на остаток
Жизни. Благодарю, что память еще крепка.
Только поэтому мед золотистый сладок
И хозяйка не устает. Пока
После прочтения пауза грозовая,
Расширяясь сферически, глушит нас,
Мы глядим, друг друга не узнавая,
Значит — все правильно, здесь, сейчас.

Несправедливость

Почему бензовоз огнеопасный, мчащийся по шоссе,
Привлекает внимание террористов, а не поэтов? Чем
Он провинился — метафора аккумулярованного взрыва?
Почему только чеченцы, подражающие команданте Че,
Им интересуются? Разве он не повод для курсива?
Разве он не олицетворение сидящего за столом
Стихотворца, почему именно боевики жадно вглядываются
в эту цистерну?

Неужели для всех — это движущийся металлолом?

Если это так, то вы хуже, чем лицемерны:

Вы — ненаблюдательны. Сверхзажигалка. Свой

Гулливер и Гаргантюа топливной литературы,

Высокооктановый, новый ее герой,

Которого проглядели литературоведки-дуры.

Серебристый эллипс, несущийся вдоль

Шлюх, шашлычниц, мотелей, автозаправок, —

Сфера бизнеса нефтяного? Нет — юдоль

Агасфера. Ага, вот теперь показывай навыв,

Сборщик моделей. Вяжи сюжет.

Он не должен достаться последователям Хаджи Мурата.

Бензовоз — он впишется в поворот, сонет,

Либретто, тему для научного реферата.

В разных ритмах

Я понимаю мужа Карениной. Невозможно
Видеть, как женщина плачет. Просто — тошно.
Сразу хочется выпить,
Возненавидеть слово «сложно»,
Отправиться на реку Припять.

Я понимаю Каренина, запутавшегося в согласных,
Выговаривающего глагол «перестрадал».
Трудно себе представить боль на салазках
Правильной речи. Он что, мраморный, минерал?
Или он никогда не думал о ласках

Вронского? Я понимаю литературных героев,
Но не понимаю, как дальше жить.
Варианты запоев
Не проходят. Грусть крошить
В лирическом стихотворении, причем без
ритмических сбоев?

Литератюря, как бы русский сказал Верлен,
Хоть и все прочее, но с колен
Уныния помогает подняться.
Но, чтобы согнутой выпрямиться спине,
Другие нужны инъекции: вне-
земные, простите за панибратство.

Напутствие

Опоздай ко второму уроку,
Опоздай на вечерний прием
К стоматологу и демагогу,
Опоздай на угрюмый паром,

Опоздай на дневную премьеру,
Опоздай на бесплатный обед,
Самолёт пропусти на Ривьеру,
Потеряй лотерейный билет,

Проиграй родовую усадьбу
В подкидного ли, в преферанс.
Опоздай на поминки, на свадьбу,
Упусти свой единственный шанс!

Проморгай удивительный случай,
И услышишь тогда за спиной
«Невезучий, опять невезучий» —
Шепотка отвратительный гной.

Потому что успеха заложник
Перекошен кошмаром ночным:
На обочине, как подорожник,
Оказаться внезапно...

Памяти Г. С.

Всё чего-то выглядывала, выискивала духовную нить
В грубой вязке свитера жизни. Как любую другую,
Смерть твою тоже хочется объяснить.
Вряд ли я по тебе тоскую.
Но когда вырывают общего прошлого клочок —
Задует в прореху, становится сразу зябко.
И кому покажешь рот-фронтальный кулачок?
Жизнь пройдет, как прокатилось яблоко.
«На всё воля Божья», как в ноябре листва,
Бестрепетно, сухо, тускло, — роняла еле
Пепел слов, ибо сами слова
За долгие годы горя перегорели.
Во всяком случае, ты была грамотнее меня:
По книге Иова ты писала диктанты.
А я развлекался с Шенди. Такая стерня
Колола воображение. Потом ты ушла в сектанты.
Хоровое пение, проповеди, псалмы —
Вероятно, это действительно помогало.
Я хочу написать, как целовались мы
На узком балконе. И все было мало, мало.
Эта подробность малозначащая пусть
Вспыхнет хотя бы в строчке внове.
Пусть торжествует страсть, а не грусть,
В жалком моем поминальном слове.

Презентация

Картины живописца слушают, что о них говорят
Искусствовед, поэт, друг юности, городская
Сумасшедшая. На столе вожделенный ряд
Бутылок. Это придуманная игра такая
Взрослых людей, где парад картин,
Висящих безмолвно, заканчивается салютом
Пробок из-под шампанского. Искусства джинн,
Выпущенный на волю, довольствуется салатом.
И что вообще испытывают натюрморт, пейзаж,
Когда их рассматривают? Меняется что-то
В изображении? Зачем холстам вернисаж?
Их расстреливают блестящими вспышками фото-
аппаратов и восторженными репликами гостей.
Они были красками, а стали произведением,
Поводом для статьи, для выпуска новостей,
Для зависти, перепутанной с восхищением.
«Роди меня обратно» — вот что они молчат:
Как бы вернуться в тубик, «остаться пеной».
Очередной оратор сыплет солью цитат,
Употребляя прилагательное «нетленный»,
Как примочку от боли. О, скорей,
Скорей бы все погасили лампы дневного света.
Живописец замешкался, задумался у дверей:
«Выставка только бы выиграла без того портрета».

Из цикла «Ретроспективный заказ»

«Девять дней одного года»

Вот благородный Гусев, вот циничный Илья,
Вот обворожительная между ними Лаврова.
Вот на жестком, выгнутом стуле, сидящий я
В кинотеатре «Аврора».

Лучшие фразы фильма: «Это — не термояд»,
«Я — плохая жена». Физики. Их остроты.
Свободомыслия долгожданный яд
Вливается в соты

Зала зрительного. Эти бородачи,
Зачарованные неисчерпаемостью электрона,
Накрахмаленные, понимающие всё врачи —
Время оно.

Так облучали надеждой, чтобы мы
Обруч общего дела держали крепко —
Лучшие в Новосибирске собранные умы
Тянут репку.

Гусев, конечно, выживет. А потом
Рядом с Илей будет стоять во фраке:
Это стокгольмский, навязчивый мой фантом.
Враки, враки,

Что Илья эмигрирует. Ерунда:
Анахронизм, позднейшие наслоения
Памяти. Я не мог так думать тогда.
Птичьё пенье

Оглушительно при выходе из кино.
Хрупкая ветка, изогнутая подковой.
Завтра — свидание с Третьяковой,
Где наконец-то будет всё решено.

«Коммунист»

Урбанский в одиночку валит достающую до звезды сосну,
Это Райзман, реанимируя эпос, гонит свою волну

В Сером море партийцев. Волшебный вырубить лес
И гвозди достать — подвиг твой, Геркулес.

Ты разговаривал с Зевсом картавым и поражен
Молнией не был. Не лучшую взял из жен.

Вся в синяках царица припала к твоей груди.
Гидра контрреволюции героя ждет впереди.

Пули в тебя вонзались. Благодарю богов,
Что эти пули были получены от врагов,

А не соратников. И ты не попал в Аид.
Это тебе устроил один режиссер-айд,

В таинства посвященный братьев Люмьер.
Ты стал бессмертным, в отличие от химер

Братства и равенства. Ты теперь наряду
С Павлом Корчагиным несколько раз в году

Появляешься перед гражданами. И ветеран
Партии плачет за чаем, поглядывая на экран.

«Свинарка и пастух»

Дуй, дуй, Ладынина, поросенку в рот,
Спасай барашка, Зельдин, спасай!
Веселись и радуйся, мой народ,
Для тебя построили караван-сарай.

А те, кто не попали на НКВДНХ,
Рано или поздно — точно попадут.
Развевайся гордо, бурка пастуха.
Ах, как поросята припали и сосут!

Стирай, стирай, Ладынина, грим,
Отдохни, сними папаху, Зельдин, закури.
Неужели это сказка братьев Гримм?
По названию — подходит. Или попурри

Из сюжетов сталинских? Лети, джигит!
Горлица желанная, стоя под фатой,
Растерялась, русокося, вся дрожит.
Крючков крючконосый очень молодой.

Свадьбу будет праздновать всё село.
«Горько!» отзовется у чеченских скал.
Трубку заливало, по усам текло,
Веселилась челядь, хан рукоплескал.

Вот какой подарок сделали Кремлю.
Топай по утопии славная свинья.
В песенке финальной строку люблю:
«Друга никогда не позабуду я».

Послесловие

С японского

Что-то прыжок затяжной
В иронию — надоел.
Третью ночь за стеной
Плачет дитя.
Кто бы его утешил.

Одному знакомому

Хлопья снега на выходе из метро.
О, какая свежая взвесь!
Тепловатое остуди добро.
Изыди, зануда, правильный весь.

Из Пушкина выпавшая метель
Тела и души перепутай, перемешай.
Маша стоит засыпанная или Мишель?
Дай карнавального глотнуть «ерша».

Чтобы лентой Мёбиуса вывернулась судьба,
Пройденного показав изнанку пути.
Я не хлопья — страхи стряхиваю со лба.
О, великолепная, лепи, мети!

Сколько в воздухе возникающих вензелей,
Инициалы хаоса — хороши.
Что же ты нахмурился, веселей, веселей:
Заархивируй вихри, пронумеруй их, опиши.

Отводи глаза от ноги багровой
Калеки, выставившей культу.
Лёвой тебя называли рёвой
В детстве. О прошлом только «тю-тю»

И скажешь. Она продает уродство,
Кто-то — недвижимость, ты — свою
Душу. Широкий шатер банкротства
Распахнут и праведнику и ворью.

Отведи глаза и от этой мысли,
Шаркающей походкой старух.
Помнишь, как, скручиваясь, висли
Липкие ленты для ловли мух?

Выдался день, когда всё — подделка,
Из Питермарбурговских цитат.
Взбесившись, как часовая стрелка,
Мечется твой бесполезный взгляд.

Судьба барабанщицы, стучащей по барабану
В центре Невского, должна быть тебе близка:
Помимо ритма, всё ей «по барабану».
Акустическая испытательница виска,

Зомби звука, влюбленная в децибелы,
До кого надеешься достучаться ты?
Здесь, где по ночам разводят мосты,
У каждого что-нибудь, да накипело.

Колоти, колоти, просовывай в букву «о»
Трехжильную нить исступления, жути, жара
Одиночества. Ты еще похожа на «скво»,
С кем раскуришь сегодня трубку дара?

Словно бы — прокаженная, обходят тебя дугой.
Екатерина Великая и сподвижники у подола
(Колоти, колоти, никогда не станешь другой!)
Слушают равнодушно безумное это соло.

И бессмысленный звук, не востребованный никем,
Ища сочувствия, летит к витрине,
Где улыбается намертво манекен,
О потребительской разжигая мечту корзине.

Дождь

Несмолкающий, проливной,
Убеждающий, что иной
Не видать тебе ночи белой.
Затихающий, оробелый.
Начинающийся опять,
Набирающий силу, стать,
Непрерывность и густоту,
Продолжающий песню ту,
Изнывал от которой Ной.
И поэтому — проливной!
Пелена шумящей слюды,
Отмывающая следы,
Застегнувшая кругозор,
Оставляющая зазор,
Аккурат во размер строки —
Так удобнее для руки.

Дюны

Солнце сквозь ветки, садясь, слепит.
Я смотрю на желтый расплав.
В городе надо прибрать обид
Ворох. Ибо никто не прав.

Шум залива стирает все
Воспоминания, как наждак.
Пишу послание полосе
Прибоя, не кончающейся никак.

Ведь если нам внятен плеск волны,
Значит игривые гребешки,
Устную речь понять вольны,
Ее завихрения и прыжки.

Пускай впитает песок сырой
То, что лирический, так сказать,
Втаптывает в него герой,
Насупленный, тучам сизым под стать.

Доверяющий камням, песку, воде,
Закатному пронзающему лучу.
Не для них эстетическое наслажде...
Даже договаривать не хочу.

Два часа на заливе я был другой.
Как и положено быть тому,
Чью речь обкатывает прибой,
Кто кого выслушал — не пойму.

Читая Чорана

Предо мною Нева и
Облака над Невой.
Всё хожу, напеваю:
«Мрачный Чóран, я не твой».

Ударенье сознательно сдвинул, признаю,
Чтобы зерна Танатоса было удобнее в тексте
Налетевшему выклеивать воронью
Там, в твоём Бухаресте
Загробном. Как ты меня пролистал,
Отвратительно близкий!
Ядовитые соли тяжёлых металлов —
отчаяния те же очистки.
Желудь подпрыгивает бейсбольный,
Весело, неуклюже так.
Главное, что ему не больно,
Он не читал тебя, дурак.
Он не закатится в чёрную норку,
Чóран, Чорáн, твоих бесед.
Под гладкой коричневою коркой
Не было страха смерти, нет
И не будет. Сорваться с дуба,
Приплясывать бодро по мостовой —
После этого как-то глупо
Горевать о стволе, глянцеви́тый мой.

Предо мною Нева и
Облака над Невой
Всё хожу, напеваю:
«Мрачный Чóран, я не твой».

Памяти В. Дворкина

Ты доказывал, что Давид Самойлов — лучший поэт,
Горячился, хмурился, обижался,
Наливал еще. Теперь тебя больше нет.
В точку сжался.
От такой раскаленной к стихам любви
В небесах трассирующие цепочки, ленты.
Скорпионы, Овны, Стрельцы и Львы —
Твои вечные слушатели и оппоненты.
И пока друзья, по тебе скорбя,
Заливают горе, зашивают дыры
Памятью или строчками, в созвездье Лиры —
Траур. Отныне выслушивают тебя
Светила, а не умеющие рифмовать
Самолюбивые клубочки плоти.
Мы еще встретимся, поговорим опять.
До свидания, Володя.

* * *

Лирика — икота души, перейди на Федота,
С Федота — на Якова, на вообще кого-то.
Тянет в раёк.
Скоморошья нота,
Марш-фольклорный бросок.

Чаща частушек, шарманки ящик,
Чище оказываются чаще,
Чем духовный хорал.
Я — где настоящий?
Не попал, не попал.

Ал цветочек, налился за год.
Лакомка, жди своих волчьих ягод.
Тянет в размол,
Вплоть до утраты смысла речи.
Кто так жадно трясет за плечи,
Не хочет, чтоб я замолк?

Полиэтиленовый пакет летающий,
Напоминающий рыбу-свинью,
Воздух судорожно хватаящий, — та еще
Дворовая инсталляция. Вынь «ю»
Из юаня — останется дева,
Которой, когда-то на 10-й Советской, ты
(Полиэтиленовый контур зева)
Стрельчатые, оранжевые дарил цветы.
Между деревьев скомканный носится,
Дремлет контейнера ржавая пасть.
Чем чревата чересполосица
Речи? — Воспоминанию не пропасть.
Нет у мусора обетованной
Тверди. Выделявай пируэт,
Перекатывайся над Караванной,
Только не приземляйся, пустоты пакет.

Сентиментальное

Только бы на тебя посмотреть, посмотреть
И обнять, обнять.
И не надо мне рифмовать на «еть»,
А потом на «ять».

Потому что ты родной, родной,
Не нужны слова.
Потому что впереди пережной,
А потом трава.

Потому что жизнь прошла, прошла
И зазора нет
Между нами. Чистотой стекла
Празднуем банкет.

Борода заросшая и седа,
Как моя. Зеркал
Повторяема череда.
Ты всегда сверкал.

Сверим, друг, наконец, часы.
Хорошо совпасть.
У цирюльника подстрижем усы
И напьемся всласть.

Это утром будет невмоготу,
А пока, пока
Безупречную провела черту
На плече рука.

В. Черешне

Друг грустит. Если б я был шутом,
Я рассмешил бы его, «ту-ру-ру» пропев.
Или пошли бы вместе в публичный дом,
Как это делал Блок, устав от Прекрасных Дев.

Он придавлен огромностью, той плитой,
С какой не справится ни одно МЧС.
Я советую: «Зацепи запятой,
Знак препинания выдержит этот вес».

Но цена подобным советам — дрожь.
Он во внутренние еще зажат тиски.
Как непрерывно стучит косилка! Что ж,
На оставшемся поле времени соберем колоски.

Потому что, кто это сделает кроме нас?
Под ногой то ли снег, то ли клен хрустит.
В Арзамас податься ли, в Арканзас?
Сколько созвучий разбросано. Друг грустит.

«...отщепенец в народной семье».

О. Мандельштам

В стране измученных лиц
Хочется пасть ниц.
В нищце асфальта вспомнить совет
Гениального флорентийца:
«Отрадней камнем быть...»
Но и это — витийство.
Стране искалеченных душ
Нужен парад и туш,
Карандаш, акробатка, Кио,
Разрезающий женщину пополам.
Колет сердце, но ты неповинна, Клио.
Это — курево, курево, да еще юношеский «Агдам».
На прищепке сознания сушится скорбный платочек,
Сколько щепок гниют
После рубки деревьев — трагический прочерк.

БОЛЬШОЙ КРУГ ЖИЗНИ

Начиналось, как у всех, с романтизма, с бьющего через край восторга существования, выраженного еще заемным голосом, например, цветаевским:

Уход не означает выхода.
Уход — убежище изгоев.
Уход — единственная выгода,
Когда не выбежать из горя.

Уход не ведает ходов,
В которые легко соваться.
Уход — не способ уходить,
А невозможность оставаться.

Или так: «Считай шаги, считай, / Считай ступени. /
Какая нищета / В моем уменьи // Повелевать стилем...»
И неважно, что повелевать стилем еще не очень получалось — уже талантливо. Во-первых, образец для стилизации выбран замечательный — не Багрицкий и даже не Маяковский; многому можно научиться так пробуя, так надрывая голос. А самое главное — инерция безоглядного восторженного высказывания выносит к золотым крупичкам истинных находок, даруемых авансом, просто за упоение и дерзость. Так бывает только в юности.

Все, кто общался с ним в эти годы, были покорены напором, хлесткими поэтическими формулами, которые запоминались мгновенно и многими не забыты до сих пор. А Лев уже уходил от юношеского надрыва и надсада, от маски проклятого и непонятого поэта — в сторону глубины и созерцательности. Поначалу голос срывался, пафос и риторика возвращали к прежней «красивости»: «...У скольких подворотен / Меня вечер найдет. // И тог-

да — одинок — / В упоении пряном, / Вынимаю ма-
нок — / Средство самообмана», но тут же верно найден-
ный ритмический рисунок и трезвый остранный взгляд
рождали несравненно более зрелое стихотворение на ту
же тему: «Мы жизнь постоянно сверяли / С игрой на сви-
рели. / И зря: / Несравнимые дали / И разные цели». Это
уже стихи настоящего поэта со своим «свидетельством о
жизни», как назвал он свой машинописный сборник 80-го
года. Большая часть этих стихотворений вошла в первый
раздел настоящего издания, а некоторые он сам включил
в свои книги «Пунктирная линия» и «Рельеф».

Чем примечательны уже эти, довольно ранние стихи
70-х годов? Тем, что сразу привлекало настоящего чита-
теля и только совершенствовалось с годами. Безупречным
чувством ритма, которое порождало и несло стихотворе-
ние, как река на перекатах несет гальку. Так подслушаны
и проговорены «Сорок минут дождя» человеком, чья
душа пущена по зеркально отраженному звуковому следу,
возвращаясь в конце концов к себе самой, — тождество,
к которому стремится истинный поэт:

Дождливым днем, дождливым днем, дождливым днем
Мне бормотать подробнее и чаще
Хотелось бы, чем дождик за окном,
Струящийся завесою звучащей.

.....

...Можно прекращать
Сумбурную и странную беседу,
Которой продолжение опять
Последует, последует, по следу...

Или ритм, навязанный в час «пик» едущему с работы
в «Троллейбусе»: «Остановки, толчки, остановки. Скорее
дойдешь. / Утомительно длится Литейный...»

Это случаи «ритмоподражания». Но есть еще просто
ритмический рисунок, порожденный задыханием от ди-

коватой красоты ночного пейзажа: «Нет на городе креста,
/ Только полумесяц белый / Есть над городом. Звезда /
Есть над городом. И хватит / Нашей жизни неумелой /
Сострадания, пока / Полумесяц и звезда / Свет на этот
город тратят», или вот этот:

Однажды проснуться на даче, веранде чужой,
С трудом разобрав, что находишься в Новых Ижорах.
Вчерашний поступок, он как-нибудь связан с душой?
Не знаю, не знаю, не думаю, слушаю шорох, —

где протяжный напев первых трех строк и мучительные паузы в четвертой точно имитируют утреннюю попытку разглядывания-разгадывания себя и своих вчерашних безумств из далекого далека нового дня и состояния.

Ну и, конечно, чистота звука, ненавязчивая звукопись, преобразующая слова в предмет или состояние:

... Тогда я вздохнул и увидел, что это весна:
Свисая с карниза, коса ледяная сияла...

Я не буду подробно разбирать эти строки — умеющему читать и слышать стихи и так ясно, что в слове «свисая» еще раз подтверждена «весна», предугаданная появлением четких «в» «вздохнул и увидел», что «вздох» автора отозвался в «карнизе», что «сияла» рассыпается на осколки звуков, даря их предыдущим словам, подобно отблеску солнца на сосульке; но все равно остается магия, убеждающая в звуковой достоверности события, никак, в конечном счете, не объяснимая. Что и есть поэзия.

Со временем Лев все пластичней пользуется ее языком, обнажая звуковое содержание любого состояния, предмета, события, убеждая нас в их неслучайном тождестве с наименованием. Необходимая оговорка: свой дар он почти никогда не тратил на пустую игру словами, он всегда сознавал, что стихи не словесная игрушка и не бегство от жизни, они — ее концентрация и «уничтожи-

тель хлама»; результат настоящей поэзии — обретение смысла и радости, даже если речь в ней ведется о бессмысленности и безысходности. Точное слово не описывает состояние, а само им является. Детское впечатление от демонстрации завершается так: «Воздушный шар играет позолотой, / Влекомый водородом и свободой» — и на этих «о» мы мгновенно улетаем вслед за шаром в эпоху своего детства. А вот более сложный пример претворения состояния в звук. В стихотворении «Когда не страшен горец был в папахе...» Лев описывает блаженные и ушедшие в небытие молодости времена братства, когда он мог беззаботно шляться по Тбилиси «и пули спали, а грузины пели». Очарование этой строчки не оставляет меня, я все не могу понять, каким чудом пули, пройдя обморок сна, становятся пением. Но чудо происходит, и это чудо поэзии, в которой «у», вывернувшись в «е», превращает смерть в жизнь, приводит не просто к замирению сражающихся, а к стройному хоровому согласию.

Менялись времена; бешеное ускорение и хищность нового времени отзывались не меньшей тяжестью, чем безнадежная неподвижность предыдущего. Но «линия жизни — она же есть звуковая / Дорожка», и на этой дорожке, направляемый чуткой совестью, поэт встречался с болезненными рифмами наших дней: «Внутренний мир был хорош, как шкатулка души. / Сколько вчера полегло при обстреле Шуши?» или бормотал без знаков препинания (редкий у Льва случай!) после увиденного «В переходах метро»: «Лучше бы я ослеп / Впрочем это клише / Я подаю на хлеб / Я не могу уже». Эта же звуковая дорожка надиктовывала то, что, к несчастью, становилось явью. В конце уже цитированного стихотворения «Когда не страшен горец был в папахе...» поэт вспоминает, что еще в те беззаботные времена прогулок по Тбилиси, гонимые ветром по бульвару листья заронили предчувствие будущих событий: «Я думаю о безотчетном даре: / Как возникает темноватый сполох / Предчувствия. О том, как на буль-

варе / Беспомощный метался листьев ворох...» Ключевой эпитет здесь «беспомощный», его сквозящий разинутыми гласными вздох объединяет ворох листьев, отданных во власть ветра, людей, не по своей воле втянутых в бойню, и бесполезную чуткость автора, который, подобно Кассандре, не в силах предотвратить неизбежное.

Порой становилось нечем дышать. Тогда спасали имена, просто звучащее слово:

дюймовочка бухарин ппж
антуаннета скрипка статуэтка
роман жан-поля сартра атташе
отдушина копирка и каретка

Случайный набор слов (всё-таки, не совсем случайный: «отдушина» соседствует с «копиркой и кареткой») оказывался самым верным портретом всеядной эпохи, бессмысленно рифмующей все со всем. И тем все обесценивающей. Выход из этой круговерти и хаоса на первых порах нащупывался в довольно традиционном противопоставлении суетливого быта и вечной природы: «Чем печальнее наша явь, / Тем слаще лесной столбняк. / Осторожно ветку расправь, / Чтобы не висла так. // Благодарный запомню взмах...» (узнаваемый нежный жест, столь присущий Льву, и его же чуткость к отклику!), но «Жаловаться нельзя, нельзя — / Мандельштам не велит», и не только потому, что Мандельштам не велит, а еще и потому, что жалуясь, мы рискуем пропустить что-то важное в происходящем, не расслышать его поступь, что для поэта недопустимо. И вот появляются стихи, где пристальное вслушивание соседствует с острым ощущением тревожности, транзитности нашего существования:

Ночью в Твери на вокзале
Дыма летящая прядь.
Что вы, диспетчер, сказали?
Я не могу разобрать.

Мы не можем разобрать, что говорит Диспетчер.
Наша эпоха, мы сами так удобно и беспечно погружены
в хаос, что нужные слова не различить. И оттого:

Гулкий, тревожный, протяжный,
Ноющий звука озноб.
Скорый, почтово-багажный.
Света безжалостный сноп,

Бьющий по нежной сетчатке.
Там тебя высветят, где
С жизни берут отпечатки,
То есть на Страшном суде.

Это уже духовная зрелость, печать которой несут
многие стихи последних лет. Не просто звуковая тера-
пия, в которую он всегда безусловно верил, как в единст-
венное средство от «глухоты паучьей» нашего времени:
«Так отбивайся козырными, / Оставшимися в звуковой //
Колоде...», а заговаривание, заклятие того хаоса, который
подступал изнутри и снаружи, его преодоление не отри-
цанием, а приятием, прежде всего потому, что он — есть,
как есть смерть, а дело поэта — видеть то, что есть, и
точно назвать:

Снег сухой летит на пруд,
Перхоть белая небес.
Тростника не видно тут,
Посочувствуйте мне, Блез.

Снег сухой летит в лицо,
Почему он так правдив?
Мира хрупкое яйцо,
Шаткий утренний штатив.

Ух, какая круговерть!
Колкий, колкий кавардак.

Леска, тянущая смерть, —
Держит удочку чудак.

Он старается не зря,
Будущий владелец щук.
Снег сухой летит, творя
Хаос радостный вокруг.

Эти четыре строфы — одна из тех редких удач, которые даруются «рыцарю бедному» за верность Поэзии. Здесь сошлось все, что мучило и не отпускало Льва до конца: и хрупкость мира, и правдивая беспощадность хаоса, отсутствие «мыслящего тростника» и смерть, просочившаяся в обыденность. «Я бы всему присвоил гриф / Совершенно утратно» — горькая мысль оборачивается в поэзии восторженным гимном единственности и неповторимости каждого смертного мгновения, уже потому достойного быть по-настоящему опознанным и не униженным жалобой и торгом. «Кривизна всегда есть в укоризне. / Как бы жить за все благодаря?» Вот так и жить, вот так и зачать поэтическим словом смерть и хаос, не дав им своей тяжелой поступью раздавить «мира хрупкое яйцо» (слышите, как по-командорски явственно «хрупают» их шаги по снегу?). И тогда хаос становится радостным. В этой радости настоящая победа поэта над детскими страхами безъязыкого мира. Он назван — он есть — какое счастье! Потому что за глубоко пережитым и выраженным ужасом нет ничего, кроме радости, радости ясного видения. Все лучшее в поэтической инструментарии автора пригодились в этом стихотворении — замечательная звукопись, безукоризненное чувство ритма, напряженность и единственность каждого слова, безошибочность интонации. Как и в этом фрагменте одного из последних стихотворений, где романтическая приподнятость ранних стихов соединилась с точностью, наблюдательностью и мастерством зрелого поэта, создав льющееся чудо настоящего «Дождя»:

Несмолкающий, проливной,
Убеждающий, что иной
Не видать тебе ночи белой.
Затихающий, оробелый.
Начинающийся опять,
Набирающий силу, стать,
Непрерывность и густоту,
Продолжающий песню ту,
Изнывал от которой Ной.
И поэтому — проливной!

Круговое, снующее движение этого фрагмента, круг излюбленных мотивов и ритмов... Прощальный восторг приятия мира слышится мне в нем, пастернаковский «гармонический проливень слез». Большой круг жизни подошел к завершению.

«В НЕБЕ ЦАРИТ ЗВЕЗДА» Предисловие к сборнику «Рельеф»

Лет десять назад поэзия Льва Дановского была удостоена похвалы «из лучших уст»: Иосиф Бродский сказал кратко: «Стихи довольно замечательные», — характерно снижая пафос этим «довольно», относящемся к дисциплине интонации, а не к умалению достоинств стихов. Будучи единственным свидетелем его слов и зная, как они дороги автору «Рельефа», предаю их гласности.

Бродский был кумиром нашего поколения наравне с поэтами Серебряного века, и в стихах Льва Дановского читатель это ощутит и не осудит. Открытое движение души при ледяной констатации, ироничный уничижительный взгляд на себя, знающего, однако, себе цену, подробность зрения в сочетании с пренебрежительным «и т. д.» и т. д., — всё это есть, как есть и неизбежные и благотворные переключки с другими поэтами, но ровно в той мере, чтобы не превратить автора из почтительного ученика в слепого подражателя и оставить ему «стесненную свободу» внести крупицу новизны, то есть свой взгляд и свою интонацию, в русскую поэзию.

Человек смотрит, как работает экскаватор,
Чисто, преданно, удивленно.
Его книга любимая — «Генерал Доватор»
Из военно-патриотического легиона.

Его любимые сигареты — «Прима».
Герметичный взгляд, бесполезный.
Созерцание (Рильке) неутомимо —
Будда или черпак железный.

Вот он и выдернут из родного ряда
Повторяемостей: семья, работа.
Ничего от жизни ему не надо.
Сосредоточенность — это свобода.

Он сейчас втягивает силовые нити
Тончайшего, чаемого эфира.
Обойдите заранее, не толкните,
Не разбейте бутылку его кефира.

Пусть он в подлинности продлится,
Просмолился ею, похорошеет,
Прежде чем на улицу возвратится
И увидит выкопанную траншею.

Лирический «не-герой» стихов Льва Дановского вполне уникален для русской поэзии, уникален именно потому, что это обыкновенный, один из толпы, усталый служивый человек, но каким-то непонятным, чудесным образом наделенный поэтическим даром, что почти равносильно в данном случае чувствам вины, стыда, боли. «Раскинулось горе широко и войны бушуют вдали...», или: «Беженка просит на хлеб, ребенок просит на гроб...», или: «На Сенной поет Вальсингам!»

«На Сенной поет Вальсингам!» — в любом самом прозаическом стихе есть безупречная чистота звука. Слово не заодно с ситуацией, но служит инструментом ее опровержения: живая душа, отлетевшая от мертвых обстоятельств. Но даже и обычный глагол умудряется отрицать свой смысл:

Моль летает в прихожей. Глагол
Из воды образован забвенья
И, себя отрицая, тяжел,
Как паромщика поползновенье.

Дальний потомок того, кто шел в землю Ханаанскую из Ура в одном стихотворении, кричит «ура!» на перво-

майской демонстрации в другом, — таково безвкусное эхо Истории.

На высокопоставленный вопрос: «...петь в наш скудный век — для чего?» есть рядовой человеческий ответ: «Без неприметного следа мне было б грустно мир оставить». Неуверенной патетике богоискательства, скрытой за вопросом Гельдерлина, противостоит непоколебимая мягкость ответа Пушкина: есть труд жизни, и его надо совершить. Иначе грустно.

И дело даже не в том, что грустно. Дело в том, что иначе — невозможно. Являясь воплощением веры, труд поэзии, как и труд жизни, не должен провоцировать поэта на графоманские поиски этой веры. Она уже есть, иначе любое движение, и в особенности движение разума, было бы непосильным в своей бессмысленной смертности.

Что бы ни провозглашали стихи, вплоть до цветастого «отказа», они — суть утверждение мира самим своим бытием, акустический его рельеф, память в продолженном настоящем, — и пушкинское «Не дай мне Бог сойти с ума» означает: не дай мне Бог забыться.

Мерцание звезд подобно еще стихам.
И то и другое уничтожает хлам,

Накопившийся за невероятно бездарный день.
Все, что было сдвинуто набекрень,

Наконец-то, в поисках своего гнезда,
Выпрямляется. В небе царит звезда.

«Будьте как дети». Конечно. Но это не значит «будьте детьми». Мир задуман так, что мы должны вырасти и обрести свое второе, духовное рождение.

Ребенок, находясь в ладу со своей душой, может быть нестерпимо бессмыслен и жесток. И наивность его не всегда трогательна. И способы познания диковаты: мы помним, как дело доходит до яростного штурма и разгро-

ма игрушки — что-то в ребенке восстает против тайного и скрытого от глаз, что-то древнее, — и если допустить для удобства, что эта «игрушка» — часы, то дитя восстает против времени.

Поэт, сей наученный горьким опытом ребенок, идет в обратном направлении, подчиняя время себе: он создает часовой механизм стихотворения, и в прозрачном его корпусе мы видим все ассоциативные зацепления, все возвратно-поступательные и круговые движения памяти, и если авторучка и ее тень показывают сиюминутное время, то в археологическом срезе стихотворения время устроено по воле поэта. Поэт — устроитель времени, а значит — устранил его поступательного убожества.

Отчаянная недостаточность себя, возвращающая по сути поэта к тому детскому протесту и штурму, утверждает в последнем стихотворении сборника: «Точки опоры нет», — и тем самым наводит на резкость мысль, что наше существование — опровержение того, что оно о себе думает. В этом парадоксальная правда и новизна стихов Льва Дановского. Они, читаемые и любимые мной с юности, даже не память о подлинности бытия, которая может и стереться, но сама подлинность, творящая эту память.

Название сборника превосходно. В словарных определениях «рельефа»: а) строение земной поверхности, совокупность неровностей суши, океанского и морского дна, — и б) вид скульптуры, в котором изображение является выпуклым или углубленным по отношению к фону. Кажется, что сухие определения словаря можно перенести на стихи. Здесь и «выпуклая радость узнавания», и «неровности», которые также немедленно ассоциируются с Мандельштамом, сказавшим: «...стесненная свобода одушевляющего недостатка».

«Рельефный», в книжном значении, — отчетливый, выразительный. Рельефная речь.

Так что:

От рифмы ли воспрям,
Лев, написав «Рельеф»,
Настолько прав,
Насколько Лев.

Сентябрь 2003

ПУНКТИРНАЯ ЛИНИЯ

1.

Мы встретились на улице его тезки: Толстого, — в 72-й школе, что была напротив Первого Медицинского. Длинный коридор, изогнутый так, что из конца в конец не просматривается, пыльное весеннее солнце сквозь мутноватые окна, Лев с черной шевелюрой, высокий, белозубый, в очках.

Он школу заканчивает, мне еще год. Маршрут после уроков: через садик больницы Эрисмана, на Карповку, улица Литераторов, пара подворотен, профессора Попова, Кировский... Возможно, около Дзержинского сада расстаемся: ему на Лахту, мне чуть обратно, на Чапыгина.

Читает стихи — Маяковского, Пастернака, друзей из ЛИТО, свои.

«Дым табачный воздух выел...»

«О, ангел залгавшийся...»

«Ястреб, ястреб, ты такая птичка...»

Любое любимое стихотворение — его. Никакой ревности. Тысячу раз я слышал потом эту озвученную радость. «Мне поручили охранять сарай, а был сарай, как водится, сырой...», «На стыках стонут поезда, истошные повстанцы станций...» Аллитерации в моде. Лев если не рычит, то гудит. И снова: «Ястреб, ястреб, ты такая птичка, / по сравнению с бомбардировщиком, / затмевающим собою небо...» Вот это: «...па-а сра-а-вне-е-нию с ба-а-амба-а-ардировщиком...»

Открытая улыбка. Безобидность и безобидчивость.

Через 40 лет — «Сад Дзержинского»:

В этой точке и началась прямая.

Все было ярко, выпукло, единственно и вокруг.

2.

Учимся в ЛЭТИ, то есть кружим по Петроградской. Первые публикации в институтской газете «Электрик». «А в старину звалась ты Натали...», — Лев безответно влюблен в Н. С друзьями из ЛИТО — самиздатский сборник «Шпалы». Скромная идея своей подсобной роли: по этим шпалам придет кто-то воистину великий.

Шпалы мелькают по дороге домой, на Лахту. Там единственная мать единственного сына, Ева Львовна. «Полковник Айзенштат лежит в гробу...» — начало стихотворения об отце, которого не помнит, умер в 1951-м.

Литературный псевдоним «Дановский» придет позже. Как и осознание того, что печатать все равно не будут. Страна, где, произнося свою фамилию, можно покраснеть от стыда за тех, кому она не по нутру, а услышав — вздрогнуть, как будто вызывают не к доске, а к стенке.

Пивной бар «Пушкарь» на Пушкарской, Дзержинский сад, двор на Чапыгина, непрерывный «Беломор». Прощаемся. Мягкая ладонь.

Через много лет стихи памяти Н.:

...А потом, за общим уже столом,
поминальным, я подумал о том,

что не в губы, а в лоб целовать пришлось...

3.

Последняя электричка, мать волнуется. То ли звонить, что остается у кого-то из друзей, то ли поспевать. Зависит от количества выпитого, от предмета ухаживания — обнадеживающего или безнадежного. Наконец, от того, есть ли койко-место. «Однажды проснуться на даче, веранде чужой, / с трудом разобрав, что находишься в Новых Ижорах. / Вчерашний поступок, он как-нибудь связан с душой? / Не знаю, не знаю, не думаю, слушаю шорох».

Вот-вот появится Валерий Черешня, переехавший из Одессы в Ленинград, и ночевка в городе станет доступней, — друг первые (долгие) годы снимает комнаты (Васильевский, Смольный пр.), в тесноте, но не в обиде.

Образуется «треугольник». Удивительное свойство дружеского союза, отличающее его от всех прочих, — свобода каждого не умаляется, но умножается. В данном случае — на три. Равносторонний треугольник без единого угла.

Последняя электричка, Лев готовится к прыжку, возвращение.

Узнавая облупленный тамбур, заплеванной пол,
Фонарей узнавая слепящий во тьме ореол,

Узнавая шеренгу деревьев, крутой поворот,
На котором сначала отбросит, а после швырнет,

Узнавая вокзальный, в рябинах обломанных сквер,
Наконец, узнавая воронежский этот размер — ...

Мать умрет в год рождения его сына, оттуда, из тех времен — еще не скоро, отсюда — мгновенно. В огороде, прилепившемся к деревянному домику на Лахте, жжем листья. Лев отходит в сторону, к кусту смородины, плачет навзрыд. Сколько было этих возвращений. От станции по асфальтовой, хлипкой с выбоинами дороге к дому.

«В черных оспинах, лунках — люблю. / Возвращаясь от друга, так долго / мы болтали, тоску накормлю / переливом сырым и блестящим...»

4.

Распределение в контору на Нарвской. На долгие годы — выход из метро в темноте ленинградского утра, на монстра «Нарвских ворот», вдыхая ядовитый запах мыловаренного завода, и — метров сто по улице со страшным именем «Промышленная». Вход в «почтовый ящик».

«Человек семенит, / Глянцевито-угодлив, / И не надо
ему аонид. / Почему он уродлив?»

Это нехорошее время, но «“жаловаться нельзя, не-
льзя — / Мандельштам не велит”, — / стихотворец,
скользя / по мостовой, бубнит».

Чуть меняется география вечерних блужданий. Появ-
ляется адрес на Моховой, и снова буква Н., которая в 1978
году эмигрирует из русского алфавита и станет N.

Весь день шел снег и выбился из сил
К полуночи. Он что-то заносил.
Какая изворотливость глагола:
Он заносил на память этот дом,
В котором суматоха и разгром
Сегодня, а завтра будет голо.

Идем на Смольный.

«Один из ясных осенних дней, / которыми так доро-
жит Валера...»

Легко. Со Львом легко. Легче, чем без него. Он поз-
воляет тебе слабость, потому что у него всегда есть сила
не проявить характер. Улыбнется, слегка отклонившись,
подавшись назад, но и протянув руку, положив тебе на
плечо. Такое отстраненное позволение. Лев — царь
друзей.

Когда-нибудь, в начале 90-х, когда царя лишат пре-
стола на Промышленной и загородной резиденции в
Северодвинске («Зверевосвинск», командировки), он
попадет на временную работу, пройдя через «желтый
двор проходной, / к Моховой выводящий, / к подворотне
одной, / поневоле хранящей / разговор узловый / и сегод-
ня — саднящий».

5.

На географической карте вновь изменения. Валера в
Петергофе, я на Чайковского. Едем в Петергоф. Какой-
нибудь разговор о стихах.

Лев: «Одиссей возвратился, пространством и временем полный». Какой чистый звук...

Одиссей полон времени и пространства, этими смертными и земными вещами, потому что отказался от предложенного ему нимфой Калипсо бессмертия. Отказался во имя возвращения домой. Предложенное бессмертие вообще не имеет смысла, только — завоёванное. Его завоеванием занимается поэзия.

Одиссей возник не случайно. В своих стихах Лев неизменно бродит по городу и вокруг, напоминая попутно и другого Одиссея, джойсовского Улисса, попадая то на свидание в Летнем саду, то в кафе, то на похороны, то на службу, то в командировку — «командированный, мать его так!», — а затем неизменно возвращается домой.

Мне всегда видится это возвращение зимой, почти ночью, на поздних поездах. Лев зимой. Место действия — Ленинград. Зимний, стылый, трамвайный, какой угодно, но — Ленинград. В заглавных буквах своего псевдонима — Лев Дановский — ЛД — он случайно зашифровал имя города. В звуке «Ленинград» — та социальность, которая присуща его стихам.

Когда-то, в послеперестроечное время он напишет: «О судьбах страны разговор...», «Когда не страшен горец был в папахе...», «Это те, кто не успели, / не вписались, не смогли. / Это те, кто в самом деле / оказались на мели...» Или: «Ангел стоять на страже / Петрограда устал...» — подробный, прозрачный звук! Тот самый, о котором он говорит по дороге в Петергоф, цитируя Мандельштама.

6.

Жена Юля. Сын Мотя. Потом дочь Катя. Спрашиваю: Почему Катя? — Ну, Мотя, Катя... В рифму вроде.

Звонит, меня нет дома, подходит дочь. — Чем занимаешься? — Читаю Софокла. — Что так припёкло?

Это уже из квартиры на пр. Просвещения, куда переехал с Лахты. Логарифмические таблицы новостроек.

На «логарифмы» нету рифмы. Значит — есть. Есть вечер пятницы и суббота с воскресеньем.

Выйду во двор погулять с детьми,
Там всегда выбивают ковер.

.....
Дети играют. Вдави, вдави
Перстень в горячий еще сургуч.
О, отчетливый оттиск любви!...

Это счастливая передышка. Иногда, на неделе, когда мы сидим на кухне на Чайковского, вижу, как он устал. «За счет чего он жил?» — спрашивает себя простодушная женщина, которая ухаживала последние годы за Прустом, — и отвечает: «Он жил за счет жизни».

Надо прокормить семью,
Концы с концами свести.
Надо еще свою
Душу спасти.

Надо работать на двух
Работах, на трех.
Ну что, доходяга-дух,
Как тебе этот вздох?

Надо войти в судьбу,
Как входит в рощу лесник.
А складка забот на лбу,
Уродующая твой лик —

Есть комментарий к строке,
Той, где «в поте лица».
Кем придумана, кем
Нежная жизни пыльца?

Как подкошенный сноп,
Валишься на кровать.
Разговорился. Стоп.
Завтра рано вставать.

Я пишу не рецензию, тем более не панегирик. Но почему бы не сказать, что эти стихи — навсегда? Безоговорочно. Потому что ими «кричит стомиллионный народ».

7.

Первая книга Льва — «Пунктирная линия», издательство «Абель», 1998 год. Автору — 51.

Она открывается стихотворением без названия, но с ремаркой в скобках: набирая воду. «Как страшно гудит в трансформаторной будке железо! / И воет собака, и небо ночное белесо...» Давнее, одно из первых настоящих.

Я веду пунктирную линию, как нас учили в 72-й школе — от того коридора — через Лахту, где мы стоим у колонки и набираем воду — — — до ноября 2004 года, когда он вручает мне стихотворение, оправдываясь названием «Сентиментальное».

Я смущен его открытостью, но 30 декабря узнаю, что это было прощание.

Сентиментальное

Только бы на тебя посмотреть, посмотреть
И обнять, обнять.
И не надо мне рифмовать на «еть»,
А потом на «ять».

Потому что ты родной, родной,
Не нужны слова.
Потому что впереди пережной,
А потом трава.

Потому что жизнь прошла, прошла
И зазора нет
Между нами. Чистотой стекла
Празднуем банкет.

Борода заросшая и седа,
Как моя. Зеркал
Повторяема черед.
Ты всегда сверкал.

Сверим, друг, наконец, часы.
Хорошо совпасть.
У цирюльника подстрижем усы
И напьемся всласть.

Это утром будет невмоготу,
А пока, пока
Безупречную провела черту
На плече рука.

«Когда человек умирает, изменяются его портреты...»
Стихи изменяются тоже и, превращаясь из приветствия в прощание, больше не ускользают от взгляда, не проходят мимо ушей, подобно повторяемому изо дня в день «привет», но обретают ту определенность и окончательность, которая заключена в слове «прощай».

Январь 2005

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	5
Перспектива	
Фотографии 51-го года	9
«Вот этот мир, где жесьть и кирпичи...»	11
«Мой город бережет тебя...»	12
«Это дождь за окном. Это ветки устало стучат...»	13
«Как в детстве — качели и сосен мельканье...»	14
«Я в этой жизни — словно в долговой яме...»	15
Прелюд	16
«Вот стрекоза, припавшая к стеклу...»	17
Простое	18
Сад	19
«Махнуть на все рукой...»	20
Оттиск	21
Очерк Манежной площади	23
«Я говорю: мы будем друг другу верны...»	25
«Недвижны листья на воде...»	26
«Мы жизнь постоянно сверяли...»	27
«Я эти дни не прожил, а скормил...»	28
«Луна из белой жести. Сквозь листву...»	29
Застольная	30
«Уйдем, давай уйдем...»	31
«Но посвист птицы поутру...»	32
Февраль	33
«Такая пустота налита за окном...»	34
В больнице	35
Прогулка	36
Топится печка	37
«Присутствует какой-то смысл в распаде...»	38
Апология пьянства	39
«В слове “пропасть” прочитается алчная пасть...»	40
Иосиф в яме	41
Памятка	42
Беседа	43
Прибавка к зарплате	44
Место работы	45
Комсомольск-на-Амуре	46

Место жительства	47
Пригород	49
Подражание Тютчеву	50
«Он был плацкартный, верхний, боковой...»	51
Точки над і	52
«Лучше не знать, что думает больной...»	54
«Смерть — это роды наоборот...»	55
«Наконец — тишина...»	56
Куст	57
Письма 1908 года	58
Муравейник	59
Вопросы другу	60
Троллейбус	61
«Ноябрьское небо, как потускневший снег...»	62
«Проходя мимо дома, где подруга жила...»	63
Удаляясь	64
Прощание	65
«Возьми себе малое: мелкий и частый покой...»	66
Портрет	67
На поздних поездах	68
«Существование состояло из...»	69
Ночь	70
«Сверкает капля влаги на листе...»	72
Живопись	73
Перспектива	74
На улице	75
«На лица спящих тяжело смотреть...»	76
«Над Фонтанкой четыре дымят трубы...»	77
«Челобитную некому вроде подать...»	78
«...Тогда я вздохнул и увидел, что это весна...»	79
«И незачем гадать: Эдем или Шеол...»	80
«Полый звук преследует, полый звук...»	81
«Какая-то ясность, я помню, вошла мне в лицо...»	82
«Поэт обещал, что придет умирать в Ленинград...»	83
Третье апреля	84

Из сборника «Пунктирная линия»

I. Темноватый сполох

Имперские мотивы	87
Лестничные вопросы	89

Валентину Румянцеву	90
«У волн, у плакальщиц...»	91
Превращение	92
Признание	93
«Жизнь есть дробление Целого, крупорушка...»	94
«Хорошо в иероглиф зайти...»	95
«Все расставания зависят не от нас...»	96
Сорок минут дождя	97
«Однажды проснуться на даче, веранде чужой...»	98
Дикий вечер	99
«Один из ясных осенних дней...»	100
«Опоздав на работу, погуляем в осеннем саду...»	101
Уроки физкультуры	102
Сентиментальное настроение	103
Бедные рифмы	104
Стихи из почтового ящика	
I «Человек семенит...»	105
II «Слипаются глаза, как в чеховском рассказе...»	105
III «Одиночество проветривает мысли...»	106
Неправильный сонет	108
II. Янтарная комната	
Письма в Вильнюс (из цикла)	
I «Из окна электрички смотреть...»	109
II «Не судьба, а какой-то языческий бог...»	110
III «В том параллельном мире мы с тобой...»	110
IV «Подъезжая к Вильнюсу, видишь холмы...»	111
V «Я пил водку и читал, обнимая тебя, стихи...»	112
Апрель	114
Похороны	115
«Жухлый листварь ноября...»	116
«После каждого твоего звонка...»	117
«Эти одиннадцать лет изменили меня...»	118
«Желтый двор проходной...»	119
«Этот снег, как человечьи жизни...»	120
Дневник юноши	121
Карповские бани	122
III. Облако наплывает	
Имена	123
«Сумерки в декабре. Возвращенье с работы...»	124
«Тусклое солнце. Серый спиральный дым...»	125

Случайный взгляд	126
«Хлопнуть дверью, захлопнуть книгу, билет вернуть...» . . .	127
«“Жаловаться нельзя, нельзя”...»	128
Он	129
«Облако наплывает, холодом обдает...»	130
«Жизнь в кафе просидеть...»	131
Строка	132
«Дерево в феврале ожидает весну...»	133
«Пришивая пуговицу к пиджаку...»	134
«Бесшумно падает снежный ком...»	135
«“Солженицын в свободной продаже, а главный чекист”...» .	136
Памяти Хармса	137
«“Воспеть” рифмуется с “успеть”...»	138

Рельеф

Распевка	141
Игра теней	
«Природа пастуха, которая моей...»	142
На демонстрации	143
Стихи на заданную тему	
1. Приготовление к прощанию	145
2. Постфактум	146
3. Год спустя	147
4. Пять лет спустя	148
5. Эпилог	148
К облаку	150
Пропавшему без вести	151
Памяти Александра Б.	152
«О судьбах страны разговор...»	153
Северодвинск	154
Сухой снег	
«Как страшно гудит в трансформаторной будке железно!...» . .	155
«Когда не страшен горец был в папахе...»	156
«Я знаю, что ехать не надо...»	157
«Все чего-то боюсь: потерять ключи...»	158
Возвращение	159
Асфальт	160
Весна в городе	161
«Выйду во двор погулять с детьми...»	162
Встреча	163

«Расставаясь, листва произносит...»	164
В переходах метро	165
«Снег сухой летит на пруд...»	167
Выздоровление	168
Песенка	169
«Выше планку и выше стропила...»	170
1953	171
«Мальчик возвращается из школы...»	172
Совет постороннему	
Полнолуние	173
«Мертвечиной несет, мертвечиной...»	174
«Обои плохо приклеены, отстают...»	175
«Чайки над Мичиганом кричат визгливо...»	176
Навеселе	177
«Прошлое не цепляет, но вьется, как моль...»	178
«Теряешь к жизни интерес...»	179
Пыль на полу	180
Семейное ведро	181
Совет постороннему	182
«“Сколько уродливых лиц”, спеша на свидание с локомотивом...»	183
Из дневника	184
Неудавшееся воспоминание	185
«Ночь близка, в силу созвучия, к “почему”...»	186
«Так лениво переругиваются супруги...»	187
«— Почему ты мрачен? — спрашивает сын...»	188
«Ночью в Твери на вокзале...»	189
«Две недели в коллективе...»	190
Плещется слово	
«Родил двух детей...»	191
О стихах	193
«Я любил вас, Эльза Лазаревна. Теперь...»	194
«Тень внезапная вороны...»	195
Чтение стихов	196
Юность	197
На приезд товарища Ким Чен Ира	198
«Как-то легче жить, когда...»	199
«Пурпурно-траурная прилетала...»	200
Ветер	201
«Пластинчатый калейдоскоп Фонтанки...»	202
«Человек смотрит, как работает экскаватор...»	203

Настроеньице	204
Почти проза	205
«Сколько черных кавычек на небе...»	206
«Отравленный книгами, сигарету смоли...»	207
Объяснительная записка	208
«“Обрати свой взор внутрь себя и смотри” ...»	209
Вид с балкона	210
«Заканчивается записная в кожаном переплете...»	211
Сад Дзержинского	212
«Теперь я знаю, как ты сидишь...»	213
Трельяж	214
Посвящается Маяковскому	215
Поэт	216
«Сними воспоминание с плечиков...»	217
«Посвятить, что ли, пепельнице...»	218
«Сердце сдавливает, и оно отвечает “да”...»	219
Элегия	220
«Бегущий на роликах под дождем...»	221
«Повернуть рукоять себя внутри...»	222

Стихотворения 2003—2004 годов

«Раскусываю надвое таблетку...»	225
Письмо Т. И.	226
Разговор	227
Лучший вариант	228
Ходом Ходасевича	229
«О, чистота прозвучавшего стиха Шелли...»	230
Несправедливость	231
В разных ритмах	232
Напутствие	233
«Все чего-то выглядывала, выискивала духовную нить...»	234
Презентация	235
Из цикла «Ретроспективный заказ»	
«Девять дней одного года»	236
«Коммунист»	237
«Свинарка и пастух»	238
Послесловие	239
Одному знакомому	240
«Отводи глаза от ноги багровой...»	241
«Судьба барабанщицы, стучащей по барабану...»	242

Дождь	243
Дюны	244
Читая Чорана	245
«Ты доказывал, что Давид Самойлов — лучший поэт...»	246
«Лирика — икота души, перейди на Федота...»	247
«Полиэтиленовый пакет летающий...»	248
Сентиментальное	249
«Друг грустит. Если б я был шутком...»	250
«В стране измученных лиц...»	251
<i>Валерий Черешня. Большой круг жизни</i>	252
<i>Владимир Гандельсман. «В небе царит звезда». Предисловие к сборнику «Рельеф».</i>	260
<i>Владимир Гандельсман. Пунктирная линия</i>	265

Лев Дановский
СЛЕПОК

На фронтисписе: Лев Айзенштат. Рисунок М. Черешни. 1982 г.

Составитель *В.С. Черешня*
Редактор *Г.А. Иоффе*
Корректор *А.Г. Ефремов*

Оформление и верстка *А.М. Портнов*

Подписано в печать 20.05.2005. Формат 84x108¹/₃₂.
Гарнитура *Officina Sans*. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ __.

Издательство «Петербург — XXI век».
196070, СПб., Московский пр., 163, корп. 2, офис 306.
Тел. (812) 388-64-31.

ОАО Издательско-полиграфическое предприятие «Искусство России»
198099, СПб., ул. Промышленная, 38, корп. 2.
Тел. (812) 186-87-17